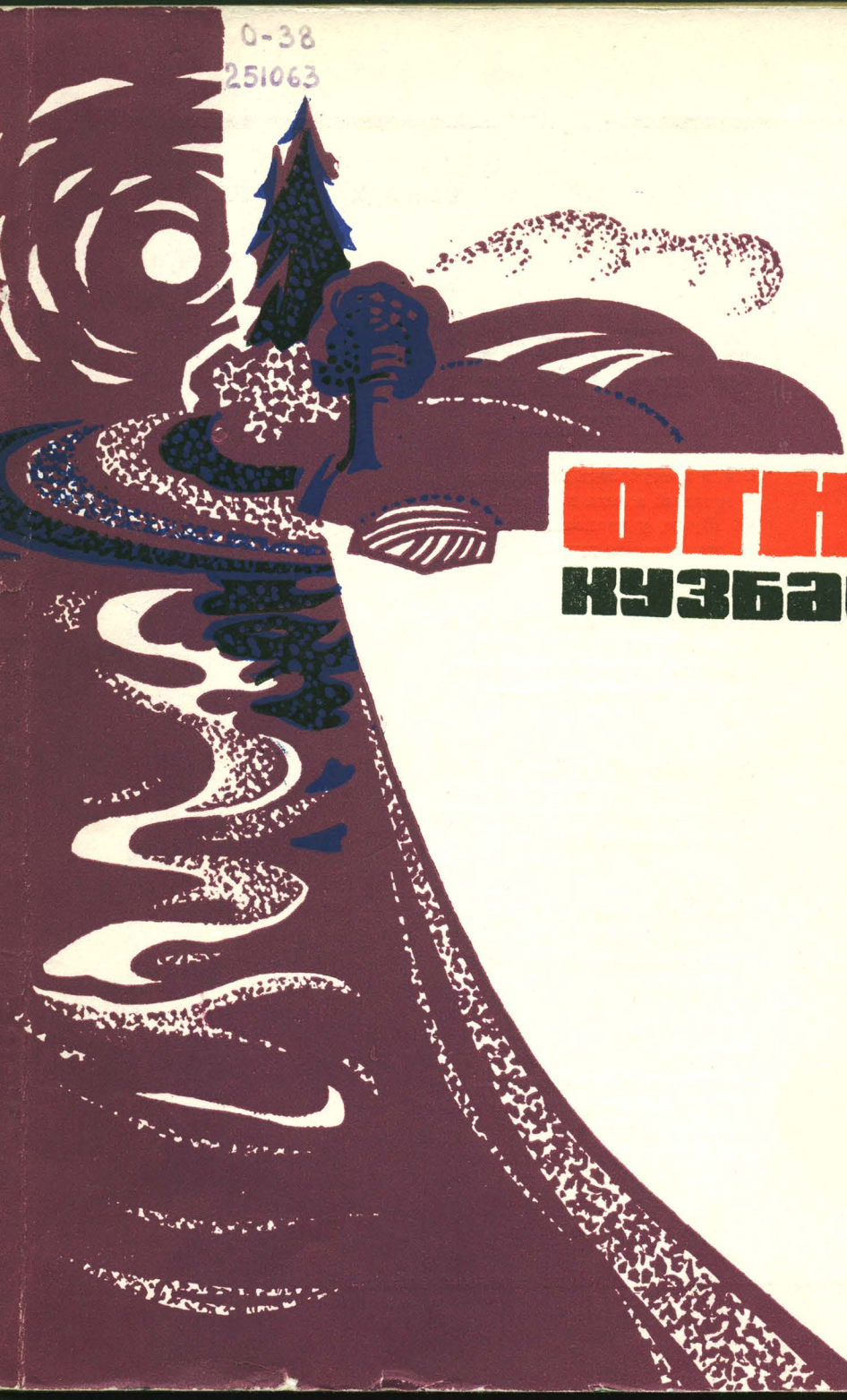
О-38
251063



ОГНИ КУЗБАССА

ГЕННАДИЙ СЫСОЛЯТИН

В Шуше, у подножья Саяна...

Стихи постучались нежданно,
В этапный вошли непокой.
«В Шуше, у подножья Саяна...» —
Он вывел своею рукой.

Ложился б, как в борозды семя,
И дальше тот песенный стих,
Да знает он: рифмам не время,
Они хороши для других —

Для Глеба, пожалуй... Для Глеба
Его «Варшавянка» — огонь!.. —
По строчкам исполненным гнева,
Летит Ильичева ладонь.

Сменяла и зимы и весны,
Цветы и сугробы Шуша.
Томился он ссылкой несносной,
Грядущею битвой дышал.

И партии план неустанно
Вынашивал в думах своих...
«В Шуше, у подножья Саяна...» —
Его неоконченный стих.

Год издания 21-й

ОГНИ КУЗБАССА

№ 4, 1969

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ АЛЬМАНАХ, ОРГАН КЕМЕРОВСКОЙ ПИСАТЕЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РСФСР

389143

Кемеровское книжное издательство

В этом номере:

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

Виктор Баянов. Не красным летом . 3
Виктор Чугунов. На речном спокое . 36
Геннадий Емельянов. Далеко от войны 41
Генрих Белль. Свидание в аллее . 44

СТИХИ

Евгений Буравлев. «Если первыми люди...» 39
Валентин Махалов. «Опять меня уносят поезда...», «Постучись в мое сердце, тревога...», «Беда не ходит в одиночку...» 35
Леонид Сербин. Крик. «Погасит тишина шаги в ночи...», «Мартены салютуют искрами...», Ожидание . . 40
Николай Гурский. «Здесь пахло лесом...», Тайдон 43
Вениамин Безруков. После долгой зимы 48
Николай Пискаев. «Зимой, когда работы убывало...» 48

НАШ СОВРЕМЕННИК

П. Ворошилов. Свадьба с приданым 49

ВРЕМЯ — ЧЕЛОВЕК — ВРЕМЯ

В. Дятлов, М. Ялин. Тайга — город железнодорожников 58

ПРОШЕЛ... УВИДЕЛ... РАССКАЗАЛ...

И. Балибалов. Вниз по Томи . . 61
И. Зыков. Дневник скворчиной семьи 67
Г. Скакунов. Где цветут эдельвейсы? 71

СЛОВО — КРИТИКЕ

В. Матвеев. Путешествие в мир детства 76

Редактор
В. М. МАЗАЕВ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

А. Абрамович,
Е. Буравлев,
А. Волошин,
Г. Емельянов,
Н. Зеленин,
В. Махалов,
О. Павловский
(отв. секретарь)

Адрес редакции: Кемерово, Советский пр., 44, тел. 6-85-14.

ВЕСЁЛАЯ МИНУТКА

Илья Картель. Образец неподкупности 76
Александр Суров. Потрудился. Пила. Не разделяя вины. Вклад в искусство. Любитель похвалы . . . 78
«Язык мой был тверд и непослушен...» (из рукописей, присланных в альманах «Огни Кузбасса») . 79

На вклейке: работы А. Н. Кирчанова.

На обложке: 2 стр. — Стихотворение Геннадия Сысолятина. «В Шуше, у подножья Саяна...», 3 стр. — Фото В. Телегина и текст М. Небогатова.

Художник
Константин ЦВЕТКОВ

Сдано в набор 13.VIII.-1969 .Подписано к печати 22.XII.1969 г. Формат 70×90$^{1}/_{16}$. Бумага типографская № 1. Усл. печ. л. 7+0,35, усл. печ. л. вклейка. Уч.-изд. л. 8,78. ОП00058. Тираж 5000. Заказ № 5486. Цена 35 коп.

Кемеровское книжное издательство Кемерово, Советский пр., 94.

Типография № 1 управления по печати Кемеровского облисполкома. Кемерово, Ноградская, 5.

7—3—2
36—М—69

Ведущий редактор Т. И. МАХАЛОВА. Художественный редактор О. С. КРАСОВА. Технический редактор Г. В. АДОВА. Корректор Е. И. ТИМОЩУК.

ВИКТОР БАЯНОВ

НЕ КРАСНЫМ ЛЕТОМ

1

Там, где речка Крутая, словно надломившись, делает резкий поворот к деревне Покровка, стояла некогда водяная мельница. И мельница, говорят, против других была так себе, никудышная, но дорогу к ней торила вся округа. Приезжали даже из дальних деревень, хотя были мельницы поближе и посильнее.

— В Залесово или куда, молоть-то? — спрашивали встречные мужика, сидящего на возу.

— Не, к Сысой Михалычу. У него хоть невелика меленка, да мелет весело, — отвечал тот, с уважением произнося имя покровского мельника.

Сысой Михайлович славился тем, что прямо на мельнице продавал самогон, да за такую малую плату, за которую у иной хозяйки и квасу не выпросишь. А мужику после полевой маяты того и надо. Приедет на мельницу под вечер, глянет — мать родная! — у Сысоя подвод сто стоит. Ну, думает, дело долгое, к послезавтрему дай бог управиться. Кинет лошади сенца и чуть не бегом спешит к мельничной пристройке. Но не прокричат еще петухи за лесом в селе, зариться не начнет, а Сысой Михайлович уже трясет непроспавшегося мужика: вставай, очередь подошла, не задерживай. Емко молол, прогонисто. И хотя мука скорей смахивала на крупу и крепко потом влетало мужикам от хозяек за такой крупный помол, мужики и в следующий раз ехали не куда-нибудь, а к Сысою Михайловичу.

За работу, как за самогон, Сысой брал мало и вообще для деревенских жителей был человеком во многом странным, непонятным. Всю жизнь прожил на мельнице, у доходного, казалось бы, места, а ходил в старом засаленном зипуне, насквозь пробитом мучной пылью. Дружбы большой с покровскими мужиками не водил, кормился среди приезжан-помольцев, а улыбался только тогда, когда смотрел на шлепающие, скрипящие колеса, шестерни и шкивы своей мельницы.

Может, простояла бы мельница и до наших дней, да осерчали, рассказывают, на Сысоя татары из соседней деревни и бросили в речку ртуть. А ртуть, она будто бы страшней всего для земляной запруды. В колодец, мол, ее пусти — колодец уйдет, а не то что пруд.

Можно было сообща, миром, восстановить прорванную слань, но мужики не захотели работать задаром, а у безалаберного Сысоя Михайловича не нашлось ломаного гроша за душой. Вскоре организовали в Покровке колхоз, стали строить новую мельницу с движком, но Сысой наотрез отказался на ней работать. «У меня душа лежит к водяной силе, а движок — не по мне. Чад от него карасиновый, шум, и нет того интересу».

Так и ушел Сысой из деревни куда-то, пропал с концом. Мельницу постепенно растащили по плахе, по бревнышку, и теперь торчат кое-где из омута сваи да у берегов видны остатки размытой когда-то плотины.

Сысоев омут — самое широкое и глубокое место на Крутой. Над водой поднимаются крутые желтоглиные яры, исполосованные дождевыми потеками. В худую погоду пугает омут темной своей медленной и бесшумной гладью. Только иногда всколыхнется он от берега до берега, гулко проглатывая отвалившуюся от яра земляную глыбу. А когда вода от

дождей прибывает и убыстряется, обтекая подводные сваи, омут глухо шумит, будто кто-то большой ворочается в глубине, всхлипывая и постанывая.

Купаться в нем покровские ребятишки не всегда решались — далеко от деревни, нет взрослого призору. А вдруг — водяной...

Зато пескарь водился в омуте отменный. Толстый, жирный, с темноватой спинкой и пестрыми боками. Породистый пескарь. Из воды такой идет тяжело, как бы упираясь, а оказавшись на поверхности, перелетает через рыбака, вертясь на крючке, и глухо шлепается на траву за его спиной. И где тут помнить рыбаку, что он на месте бывшей мельницы, что с утра у него не было маковой росинки во рту, что хватились его, наверно, в маленькой избенке на краю Покровки — опечаленной войной, нешумной вдовьей деревни.

Минька уже несколько минут смотрел, не мигая, на спокойный поплавок, сделанный из бутылочной пробки. Смотрел напряженно, готовый в любой момент схватить удилище, воткнутое в зеленый берег. С утра клев был хороший, в котелке время от времени бурно всплескивали пескари, и Минька с каждым таким всплеском придерживал котелок, боясь, как бы он не перевернулся. Сколько поймал, он не считал. Если будешь ловить и считать, то много не поймаешь. Это давняя, не раз испытанная примета.

Вода в Крутой стала мутной, с прозеленью, и Минька догадался, что это пастух Костюха поит стадо выше по течению. Да коровы и сами в такой вот солнечный день норовят зайти в мелкую воду и стоят в прохладе, отмахиваясь хвостами от слепней. «Куда! Куда!» — слышался вдалеке покрик пастуха, который только и славился зычным голосом да несусветным хвастовством о своей богатырской силе, хотя Минька знал, что никакой такой силы у него не было. Будь у него богатырская сила, как у Муромца или самого Бовы Королевича, не боялся бы он Минькиной соседки, сварливой, густоголосой бабки Протасихи, с которой пастуха вечно мир не брал. Выгоняя по утрам коров, Костюха издалека начинал поматеривать бабку за то будто бы, что она постоянно просыпала, не выгоняла вовремя корову. Но подойдя ближе и видя, что Протасиха открывает ворота, Костюха умолкал, поспешно переходил на другую сторону улицы, краем глаза следя за бабкой. Тут уж она начинала честить пастуха на чем свет стоит. Каких только слов не выискивала! И варнак-то, и колдун, и такой-рассякой. Слова сыпались, как горох из мешка. Костя только моргал, не успевал соображать, что к чему. С глазу на глаз боялся в спор вступать, понимая, что в слове ему с бабкой тягаться не под силу. И так — каждое утро.

Поплавок качнулся. Минька насторожился, взял удилище в руку. Но поклевка была не резкая, не вглубь, а плавная и в сторону. Это вьюн. Он всегда так. Подойдет к червяку и подсасывает его полегоньку, оттягивая. Пескарь, тот сразу берет, с наскоку.

Минька выдернул крючок, поправил червяка, поплевал на него и забросил в другое место, подальше. Поплавок, как вмороженный, темнел на воде. У Миньки от долгого смотренья на него рябило в глазах, но он не торопился уходить, потому что вот-вот должен был прибежать к омуту Яшка, дружок, сын пасечной сторожихи. Еще вчера договорились они встретиться у омута, но время вот уже к обеду, а Яшки все нет и нет. В деревню, поди, убежал. Такой непоседливый — страсть. Минька еще спит, а он уже обежит полдеревни, побывает у конторы, на конном дворе и заявляется всегда с кучей новостей. Никто из мальчишек не знает лучше его, кому что пишут с фронта, кто и какую медаль получил.

То ли потому, что давно уже журчало в животе от голода, то ли потому, что Яшка долго не шел, Миньке стало как-то неуютно, беспокойно на размытой слани Он заерзал на месте, будто под чьим-то пристальным взглядом, чаще запоглядывал в ту сторону, откуда должен прибежать Яшка. Услышав за спиной легкий шорох, обернулся и с застывшим в горле вскриком мгновенно вскочил на ноги. В двух шагах от него лежала большая гадюка, спружинясь и приподняв плоскую голову. Змея, видно, тоже испугалась внезапного для нее резкого Минькиного вскока и тоже смотрела на Миньку, чуть слышно шипя и подрагивая от напряжения. Минька, холодея спиной, никак не мог оторваться от гадючьего взгляда, видел только две поблескивающие черные точки. Но вот змея приопустила голозу и молнией врезалась в прибрежную осоку.

Минька долго еще стоял не шевелясь, забыв, что он может двигаться, а когда сцепенение прошло, почувствовал головокружение и слабость в коленях. Он не боялся змей, если замечал их издалека за несколько шагов. Знал, что убивать их надо камнем либо жидким прутом. Если же ударить палкой, то змея, обвив ее, с новым замахом взлетит в воздух, пружиной разовьется вдоль палки, и жиганет в руку, плечо или шею. А тут получилось так неожиданно — впереди змея, сзади обрыв. Грохнешься с него, как раз угодишь на торчащие из воды сваи от бывшей мельницы. И — все, поминай как звали.

Минька уже пожалел, что не позвал на рыбалку никого из деревенских ребятишек. Можно было взять даже Таньку, Протасихину внучку. Она каждое лето приезжает со станции, гостит у бабки и всегда, когда не надо, тягается за мальчишками. И Орлик как на грех убежал куда-то. Этот всегда все учует и рычанием или лаем даст знать. Правда, Орлика самого прошлым летом кусала змея. Шея опухла и дышал часто-часто. Потом он удрал в лес, два дня пропадал где-то. А на третий вернулся домой как ни в чем не бывало. И опухоль куда делась. Говорят, собаки траву какую-то знают, что от змеиных укусов помогает. Вот бы подсмотреть, какую траву ел Орлик.

Яшка все не шел. Минька решил больше не ждать его, смотал удочку, поднял котелок с уснувшей, затихшей рыбой и зашагал к деревне по высокому берегу. Змея все еще стояла перед глазами. Он вздрагивал от каждого шороха в траве, зорко смотрел под ноги. Черемуховый прут, лежащий поперек тропы, перепрыгнул машинально.

Давно ли ходил он здесь с отцом! Отец работал трактористом и, возвращаясь с полевого стана, по пути заходил за ним — большой и усталый. О чем они говорили тогда, Минька забыл. Помнит только, что руки у отца были жилистые и пестрели крапинками от въевшегося в поры мазута. А из кармана пиджака всегда торчала пакля или ветошь. Минька старался шагать широко, как отец, и все норовил идти рядом, а не семенить сзади — не маленький, девять лет как-никак. А теперь и вовсе... Три года прошло. Яшка вон на год моложе и то прямо как взрослый. Даже морщинки на лбу есть. Это от разных размышлений, говорит Яшка. Конечно, все лето живет с матерью на пасеке, часто остается один, а когда один да в тишине, то хочешь не хочешь, а думать больше приходится. Это Минька по себе знал.

Крутая от Сысоева омута до деревни целиком скрывается под косматым тальниковым навесом. Речка из-за малой ширины быстротечная, прогонистая. Воды много, разлиться ей негде, вот и стремится она протолкнуться с клокотаньем в узину. В таких местах хорошо мордушки ставить. Но в Крутой водится почти что один пескарь, а он в маленьких речках не шибко любит скорую воду, все больше по омуткам пасется, где простор, солнце и спокойное плесо.

Минька подошел к переходу. Отец, бывало, останавливался здесь, вынимал из кармана пиджака черный обмылок, завернутый в обрывок газеты, говорил Миньке:

— Ты беги домой, Михайла, а я в речке умоюсь. Пусть мать рыбу жарит. Есть хочется — страсть как, ноги не держат.

Переход этот отец сам налаживал каждый год. По зазимку убирал жерди, прятал в кустах, а весной, после половодья, укладывал снова. Много делал он такой работы, за которую никто не платил и которую никто не заставлял делать. Выберет день, заткнет за опояску топор, вскинет на плечо лопату-штыковку и айда за деревню. Огородит трясину, чтоб не засасывало отбившуюся от стада скотину, поправит на речке кладки-переходы, почистит в полях родники и колодцы. Часто ходил с ним дед Протас, живший напротив.

Минька оглядел жердушки — как сучки обрублены, как снята кора. Не кто-нибудь рубил — отец. Потом осторожно прошел по ним и стал подниматься по тропе на взгорок. Навстречу ему со стороны деревни ехал верхом на лошади колхозный объездчик Ганька Карпухин. Минька сразу узнал его, как только стали показываться из-за макушки пригорка верх Ганькиной военной фуражки и уши лошади.

Прошлой весной прибыл Ганька с фронта, раненный в ногу. Всю зиму отлеживался дома, а этим летом начал работать в колхозе. Работу ему предложили самую легкую — объездчиком. По годам Карпухин Минькиному отцу ровесник, но в деревне все от мала до велика привыкли: Ганька да Ганька. Ровно он парнишка совсем. На людях он мало бывал и, может, поэтому казался Миньке

каким-то особенным, не таким, как все.

Минька сшагнул с тропы на обочинку, давая Ганьке дорогу. Но Ганька не проехал мимо, а остановил коня, свесился с седла.

— Ты, Михайла, всю Крутую обезрыбил, видать, — сказал он, заглядывая в котелок.

— Да не, — Минька улыбнулся Ганьке вверх. — Пескарь все больше да красноперка. А в Крутой, говорят, щуки есть. Налимы — это уж точно! Яшка вон прямо вилкой трех налимов заколол. Нащупает под камнями и — раз!

— Ишь ты, — удивился Ганька, — молодец!

Он выпрямился в седле, разгладил светлые усы и, видя, что Минька поглядывает на тропу, повеселел глазами:

— Домой торопишься? Приглашай на уху, рыбак. А?

— Да я чо, я...

Минька хотел сказать «как мамка», да смолчал. Еще обсмеет Карпухин, оконфузит. Все еще, скажет, за мамку прячешься. Перед кем, перед кем, а перед Ганькой Миньке особенно хотелось казаться большим, сильным.

Ганька постоял немного, как бы раздумывая и выбирая путь, и, дернув повод, повернул лошадь с тропы, направляясь вверх по Крутой. Полуобернувшись в седле, кивнул Миньке, как взрослому. Пока, дескать.

Минька зашагал по длинному пологому склону к деревне. По этому склону любил он зимой кататься на лыжах. Заходить, правда, далеко, но зато и катишься далеко. Да еще если лыжню проложишь не прямую, а с поворотами.

Ветра не было. Березы и осины стояли по сторонам понуро, недвижимо. В небе, высоко, пел жаворонок, пел тихо и не так переливисто, как ранней весной.

Минька жалел, что не пригласил Ганьку на уху, только промямлил что-то, как маленький. А вдруг он и вправду бы пришел! Тогда бы все мальчишки от зависти лопнули. Минька видел, как весной Ганька первый раз приковылял к магазину, опираясь на палку. На другой день все мальчишки выстругали себе такие же палки и ходили, прихрамывая, как он. И вот сидел бы Ганька у Кашемировых и за ухой рассказывал Миньке разные военные случаи. Уж ему-то есть что порассказать — две медали имеет. А может, придет еще...

2

— Минька, не убегай никуда, в поле поедем. Будешь копны возить, а мы с тетей Груней — метать. Одной-то мне где пособиться. — Наталья мыла посуду и убирала со стола в подвесной шкафчик.

— Ладно, — сказал Минька, глядя на проворные, полные руки матери. Склоненное над столом лицо ее тоже было полное, округлое и почти не загоревшее. Это от того, подумал Минька, что мать работала заведующей МТФ, а не в поле на разных работах, как другие женщины.

Минька обрадовался тому, что поедет в поле. Может, зайчонка удастся поймать на гриве. И вообще он любил скошенные луговины с аккуратными копнами и стогами на них. Кусты над обритой литовками землей выше делались и кудрявее, чем при травостое, а кругом светло и уютно, как в праздничной избе.

Убрав посуду, мать уложила в корзину вареные накруто яйца, картошку, смыла с соленых пупырчатых огурцов рассольную пену да укропные крошки — и тоже в корзину. Все это накрыла ситцевой тряпицей, села рядом с Минькой на лавку.

— Сбегал бы к бабушке, она хлеб пекла сегодня.

— Не пойду, — заупрямился Минька. — Дед сейчас дома. Он всегда ругается, когда прихожу.

— Ну ладно, — согласилась мать, подумав, — обойдемся.

Она потрепала Минькины вихры теплой, мягкой рукой. Потом обняла Миньку, прижала к себе.

— Худой-то какой. Избегался весь. По папке-то скучаешь?

— Не знаю, — честно признался Минька, чувствуя неловкость от материной ласки. Непривычно было, смалу не баловала мать. Больше-то прута перепадало.

А об отце... Привык уже как-то Минька без него, хоть и вспоминает часто. И — чудно! — смотрит теперь Минька на все, что было три года тому назад, как бы со стороны. Будто какой-то другой Минька ходил с отцом в магазин, на рыбалку, на колхозные собрания тягался, а не он сам. Нет, скучать не скучает он, наверно, только сильно хочет, чтоб скорее вернулся отец.

Мать вздохнула, глянула в окно.

— Вон и Груня идет, сейчас поедем.

Груня Долгова высокая и худая, с шелушистыми исцарапанными ногами, усе-

лась на телеге рядом с Натальей. Минька сел с другой стороны на разостланный дождевик, дернул вожжи, и гривастая вислоухая лошаденка Пчелка затрусила по дороге неохотной рысцой.

Минька понукал Пчелку, когда она норовила перейти с рыси на шаг, болтал ногами под телегой, краем уха невольно ловил женский разговор.

— Смотрю я на тебя, Наташка, аж завидки берут,—сказала Груня.—Ты без Степана маком полышешь, откуда чо и берется. Бедрищи-то вон во всю телегу...

— Скажешь тоже...— Мать хлопнула Груню по спине, колыхнулась в смехе широким телом. Потом откинулась на руки, подставив солнцу лицо и шею. Высокая развалистая грудь вздрагивала студенисто, то ли от смеха, то ли от тряской дороги. Полуприкрытые глаза ее вспыхнули вдруг озорством. Она обхватила Груню за костлявые плечи, затискала, затормошила.

— Да пусти ты, холера! — отбивалась Груня, косясь на Миньку.

— Доля ты наша, долюшка-а,— протяжно вздохнула Наталья, успокаиваясь. — Ляжешь вечером, а сон не идет. Хоть криком кричи...

— Ох, баба...

— Баба-то баба, да толку что. Скорей бы уж кончалась, проклятая.

— Пишет Степан-то?

— Пишет. — Голос матери зазвучал ласково. — В разведке служит. Орден недавно получил за реку Днепр. Ну а твой?

— Ох, мой... Мой редко пишет.— Груня опустила голову, заговорила тише:

— Пришлет раз в полгода... А я читаю, плачу. За каждым его одним словом мне еще десять слышится. И настроение его чувствую и вижу, что писано наспех, легко, лишь бы отписаться. Шмару, поди, какую завел там.

— Ну уж, что городишь-то?

— Что, что... Мы ведь, ты знаешь, плохо жили, несогласно. А теперь и вовсе... Ты погляди на меня, какая я стала. А что от меня после войны останется? Кости да жилы. Не то баба, не то мужик, не поймешь. Хоть бы дети были, а то... Бросит он меня. Мало ли счас молодых да толстомясых. А мужики где? Увидишь, бросит...

— Не бросит. Что ты, Грунька, ей-богу! Из ума-то, поди не выхлестнулся совсем. Нам тут что, санатория? А поднимет нос — пусть катиться.

— Легко сказать... Прожили столько,

— Ну и дальше будет жить, не убивайся загодя.

Дорога вздыбилась крутым огорком. Пчелка пошла натужным, учащенным шагом, крепче застукала копытами в мягкую пыль. Бока ее залоснились потом, раздувались, как кузнечный мех. Телега тарахтеть перестала, только тяжи чуть поскрипывали.

Женщины примолкли. Задумались. А может, не хотели, чтоб Минька слышал их разговор в наступившей тишине.

Деревня скрылась из виду, будто провалилась за пригорок. Только длинная труба колхозной сушилки долго еще маячила сзади. Потом и она пропала за деревьями.

Пшеничным полем бежали белоногие околки, над стогами, далеко, вздымались галки, перелетали с одного стога, на другой. Небо над полем мягко голубело, будто омытое. Льняная прядка высокого перистого облака белела недвижно, подчеркивая огромность неба. Светло и затишно вокруг.

С моховых болот, откуда берет начало Крутая, поднялись журавли и широким клином проплыли низко над дорогой. Передний журавль все поворачивал голову на длинной шее, оглядывал строй, протяжно трубил, набирая высоту.

Минька долго следил за журавлями. Когда они отмахали далеко, ладонь к бровям козырьком приставил. Интересно, почему взрослые всегда из-под ладони смотрят, даже если солнца нет? Ничуть не лучше видно. Так же. Отец, бывало, тоже из-под руки смотрел, если в что-то далекое вглядывался. Интересно...

— Что ж ты отца-то не попросила помочь сметать? — после долгого молчанья спросила Груня Наталью.

— А ну его,— отмахнулась та, — разве это отец? Веришь, нет,— ни разу не зашел к нам за все годы, что со Степаном жили. Этой весной сама огород огородила заново. В колки за кольями ездила, испростыла вся. А он и не вздумал помочь. Теперь вот пол в сенках проваливается, матку надо новую подводить. Кого и просить, не знаю...

Наталья поправила волосы, натянула на лоб косынку, продолжала:

— Не любит он Степана. Ему хотелось, чтоб я за другого пошла. В крестовый дом. Чтоб крыльцо было высокое, заплот крашеный да ворота под крышей.

— Ишь ты! Будто в больших-то домах для нас, баб, горя нету. Ему там

еще вольготней. Знаю я, всего насмотрелась за свою жизнь. Светлые горницы темным да холодным погребом оборачивались. И хорошо, что не послушалась...

— Даже и не думала. Не ранешное время.

— Я и говорю...

Копны сселись, казались маленькими и легкими. Но первую же, зацепленную веревкой, Пчелка едва стронула с места. Будто приросла копна. Мышки-полевки уже дорожек по траве наторили к ней, проточили одонье.

Возили копны на открытое ровное место, чтоб удобнее было потом подъезжать к стогу. На луговине оставались широкие темные полосы от тяжело скользящих копен. Выкошенную не так давно поляну начала пробивать уже молодая отава, обровняла литовочные прокосы, словно никто и не косил тут, а просто взял да и смел аккуратно траву в редкие копны. Ровная поляна, чистая. Только на спуске к логу, возле кустов, пятнилась она бугорками черной земли, вытасканной из нор полевыми кротами.

Минька сначала ездил верхом, но чувствуя, как напрягается Пчелка всем телом, вытягивая гривастую шею, пожалел ее, стал водить в поводу. Да и удовольствия мало колыхаться на остром хребте старой лошади.

За логом незнакомые мужики дометывали широкий, бокастый стог.

— Что же это за люди? — спросила Груня.— Трава здесь нашего колхоза. Грань вон за тем колком проходит.

— И правда.—Наталья всмотрелась.— Чужие кто-то. А лошадь стоит вроде карпухинская.

— Его.

Когда копны были свожены, Минька отвел Пчелку в лог, спутал волосяным путом, пустил пастись.

— Сегодня тебе, Михайла, на стогу стоять, — сказала Груня. — Сможешь?

— Не знаю.

— Учись. Мы сами будем подавать куда надо. Топчи знай. Привыкай робить, не все по деревне собак гонять.

— Ну, не скажи,— вступилась за Миньку мать,— он у меня второе лето в колхозе трудодни зарабатывает. И на прополку ходил, и на покосе волокушничал. Да и по дому все делает—мне-то одной где успеть.

— Да это я пошутила насчет собак,— улыбнулась Груня, мягко похлопав Миньку по плечу.

Стог медленно, но рос, поднимался над мелким кустарником. Женщины сбросили кофты, время от времени вытирали ими рагоряченные, парные лица. Минька старательно утаптывал сено, подбирал, приглаживал граблями бока стога в местах, указанных снизу матерью. Успевал и по сторонам смотреть. Сверху-то все — как на голом колене. Мужики за логом уже вершили стог, за стогом стояла бричка и плетеный пестерь на высоких колесах. Рослый белоногий конь пасся в ложке, позвякивая уздечкой. Увидев Пчелку за логом, тонко ржанул. Но та будто и не слышала, мелко переступала спутанными ногами, спокойно пощипывала траву.

— Давайте-ка отдохнем,— предложила Груня. — Я за водицей схожу.

— И то, —согласилась Наталья, втыкая в землю вилы.

Груня взяла кувшин и пошла в согру. Минька свернулся на стогу, глядел ей вслед. Он сам не раз бывал у того ключа с отцом. Был бы внизу, сходил бы вместе с Груней. Поди, пересох родник. А если и не пересох совсем, то сильно тиной затянут, затоптан скотом.

Груня скрылась за мыском. Минька улегся поудобнее, зажмурился. Позвякивание уздечки и голоса мужиков за логом постепенно затихали, отдалялись. Минька не заметил, как задремал. Даже сон приснился. Будто идут они с Груней ко ключу и Груня говорит Миньке:

— Вот что, Миша. Пока отец твой воюет, ты должен за него все колодцы в чистоте содержать. Отец придет, ему это по сердцу будет...

А голос у Груни не тонкий и певучий, а басовитый, с хрипотцой. Да такой громкий, что Минька вздрогнул и... проснулся. Но что это? Крепкий мужской голос продолжал басить внизу, под стогом.

— А ты все добреешь и добреешь, еще наливистей стала.

— Не про тебя, не лапай.

— А ежли я не могу с собой совладать. Весь белый свет ты от меня застишь. Я ить только на тебя и гляжу всю жизнь.

— Проглядел, нечего теперь...

— Наташ...

— Прими руки, говорю! Не тро...м-м...

Голоса под стогом стихли на какое-то время; потом звонко лопнул в воздухе сочный чмок, послышались глухие шлепки и голос матери — торопливый, задыхающийся.

— Уходи, уходи, слышишь! Сдурел совсем. Парнишка вон на стогу...

— Где он там, разбойник? Минька! Минька вскочил, подвинулся на край стога и увидел Ганьку Карпухина, которого не смог сразу узнать по голосу. Ганька, посмеиваясь, покручивал усы.

— Ты что это, рыбак, прячешься?

— Я не прячусь, я уснул, — ответил Минька, смутившись.

— Во-он оно что. Сено метать—не с удочкой на речке сидеть.— Ганька, продолжая посмеиваться глазами, кивнул в сторону Натальи.

— А я вот в помощники набиваюсь, да мать твоя не берет. Что ты будешь делать!

— Сами как-нибудь, — сказала Наталья, укрывая плечи кофтой и бросая на Ганьку быстрые взгляды.

— Ну вот, ну вот, видишь?— Ганька руками развел, даже обиженное лицо сделал.—Что ж, пойду тогда. А уха за тобой, рыбак. Да-авно я ухи не едал.

— Ладно,— сказал Минька.—На днях пойду рыбачить.—Приходи, дядь Гань.

Минька смотрел, как пошел Ганька в лог, наваливаясь на трость. Смотрел и побаивался, что мать начнет ругать его за то, что сам пригласил Ганьку, не спросив у нее. Сердится, наверно. Конечно, сердится. Ведь Ганька тут ей всякие слова говорил. Так ему позубоскалить — хлебом не корми. Уж на что бабка Протасиха вон какая, а и ту он однажды в краску вогнал. «Ежли я кого и уважаю во всей нашей деревне, так это тебя, Авдотья Семеновна. Я тебя даже люблю». — И все норовил обнять бабку. Под хмельком он был и еще у бабки на водку взаймы просил. Бабка поохала, поохала «ну, забубенный! ну, варнак!», да и полезла на божницу, где у нее лежал узелок с деньгами...

Минька покосился на мать. Но она, видно, забыла уже о Ганьке. Кусая стебель пырея и щурясь, смотрела мимо сына в небо. Минька тоже задрал голову и увидел кобца. Сложив крылья, он камнем падал с большой высоты. Вот он на полном лету выкинул крылья, резко сбавил лет, плавно и полого прошелестел над стогом к согре, сжимая в когтях маленький темный комочек. Пропал, будто его и не было. Только одно-единственное перышко неведомой птахи, попавшей в когти кобчика, долго еще снижалось, посверкивая на солнце и колеблясь, как сбитый с ветки осенний листок...

Пришла Груня.

Наталья как ни в чем не бывало раскрыла корзинку: заодно решили и пообедать. Завернув еду в узелок, подала Миньке на стог. Хорошо на стогу! Ветерок-верховик приятно обдувает, а картошка — не сыщешь ничего вкусней!

Наталья потянулась к кувшину с водой. Груня, подавая ей кувшин, спросила:

— Откуда это у тебя синяк на руке?

— А так... Вилы вон в землю слабо всткнула. Упали.

3

Минька проснулся от легкого стука в окно. А может, оттого, что подошло время проснуться. Но стук в окошко был, это он явственно слышал. Открыв глаза и увидав на стене полосу солнечного света, смекнул, что день выдался ведреный, самый что ни на есть ягодный день. Еще вчера договорились они с Яшкой поягодничать, если будет хорошая погода и мать отпустит Яшку с пасеки. «Должна отпустить,— думает Минька,— все равно у них дома есть нечего».

Минька прикрыл глаза, собираясь еще заснуть. Мать давно уже, наверно, ушла на работу, вовсю сияло солнце, но потому, что вставать не очень хотелось, он решил, что времени не так много, до обеда далеко. Он и так и этак пробовал улечься, то раскидывал ноги, то к подбородку их подтягивал, но скоро понял, что заснуть больше не сможет. Даже досадно сделалось: такой хороший сон не досмотрел про рыбалку. Будто налим полуметровый на жерлицу взялся. Только вытащить его Минька не успел — проснулся. Говорят, если сразу после просыпу заснуть, то сон, что снился раньше, продолжается. Но хорошо если он приятный, как вот сегодня, а то, бывает, такое привидится, что криком зайдешься. Тут не только досматривать — неделю целую совсем спать не захочешь...

Минька сел, свесив ноги с кровати, поевал, пожмурился и, соскочив на пол, подшлепал босыми ногами к окну. Оглядел завалину — никого. Приподнялся на носки и обнаружил за завалиной Яшкину голову. Яшка всегда бегал стриженный наголо, а на самой макушке темной головы белели две плешинки величиной с пятак. Яшка рассказывал, как это получилось. Маленький совсем был. Вертелся возле печки, на которой

жарилось свиное сало. Две брызги дымящегося жира угодили ему на голову и выжгли эти два пятака. На таких местах волосы уже не растут никогда. Вот поплясал он, наверно!

— Яшка! — крикнул Минька в окно, сорвавшимся после сна голосом.— Иди в избу, чего ты!

Стукнула в сенках дверная клямка, и Яшка, перешагнув порог избы, тут же по привычке и сел на него. Одна штанина была засучена по колено, другая — чуть ниже. Засохшая речная тина и пыль въелись в иссеченные цыпками ноги. Минька посмотрел на свои, тоже в цыпках, и сказал, повторяя материны слова:

— Ну и ноги у нас. Отруби да выброси — волки, и те грызть не станут. Ты посиди, Яш, я умоюсь.

Умываясь, он громко фыркал, как это делал отец. Яшка смирно сидел на пороге. И что за привычка! Никогда в передний угол не затащишь, даже если Минька один дома. И чего стесняется...

— Ты ел? — спросил Минька, вешая полотенце на гвоздик.

— Неужто так пошел.

— Не финти. Давай-ка сюда, к столу, пошамаем малость. А то голодные-то и до Высокого колка не дойдем.

Минька открыл заслонку русской печки, подтянул ухватом с загнетки маленький закопченный чугунок.

— Картошка. Теплая еще.

Яшка сидел на пороге, вертя в руках прутик от веника.

— Ну, чего ты?

Яшка поднялся, подсел к столу.

Есть стали прямо из чугунка. Миньке было приятно угощать Яшку, который, видно по всему, чувствовал себя неловко за чужим столом, будто стыдился, что у них дома нету даже картошки. Что поделаешь, если в прошлом году неурожай случился. А хлеб... Хлеба ни у кого сейчас нету.

— Ты вон эту бери, она рассыпчатая. —Минька подкатывал Яшке лучшие картофелины.— Может, к Шолому сходим?

— Не, далеко шибко. Да и змей там, говорят, полно — камни. А еще, дед Протас говорил, дикие кошки там в норах живут. Попадись им — все, поминай как звали.

— Дед наговорит, только слушай. Только и знает покрикивать: то не делай, это не трогай, сюда не ходи... Будто мы маленькие. Пусть вон Таньку свою поучат.

— Угу, — согласился Яшка, хрустя поджаренной картофелиной.

Минька рассказал Яшке, как он приглашал Ганьку Карпухина на уху, чтоб побыть с ним, послушать рассказы о войне.

— Вот здорово! Я тоже прибегу,—пообещал Яшка.

Чугунок быстро опустел. Минька поставил его на шесток, накрыл заслонкой от мух, вытащил из-за печки корзинку.

— На, это тебе под ягоду. У меня есть, в сенях стоит.

Закрывая избу на замок, он глянул в сторону протасихиного двора, напомнил шепотом:

— Пойдем огородами. Смотри, Яшка, голову из-за плетня не высовывай, а то Танька живо увидит, потянется за нами. Мы сначала к бабушке забежим, она хлеба даст, если деда нет дома.

Ребята прокрались огородами на зады, быстро перемахнули через плетень и, как зайцы, петляя по кустам, выбежали к речке.

— Давай ноги малость помоем, — сказал Минька, бабушка увидит такие ноги, хлеба может не дать.

Они вошли в воду, склонились и стали тереть шершавыми камушками прямо по цыпкам. Не глядя друг на друга, морщились от боли.

— А может, не пойдем к бабушке,— предложил Яшка, — терпенья никакого нету. Сметаной надо смазывать цыпки.

Тут они подняли головы и чуть не сели в воду. Перед ними стояла Танька Протасихина в синем коротконодолом платье, с маленьким ведерком в руке. На голове — красный бант из старой привезенной со станции ленты. Когда Танька бегала, то бант прыгал на макушке и был похож на большую бабочку, которая запуталась в волосах и никак не может выпутаться.

От неожиданности ребята растерялись, с открытыми ртами исподлобья смотрели на Таньку.

— Ты это к-куда?

— Как — куда? С вами по ягоды, — не моргнув глазом, улыбнулась Танька, — Да вы не думайте, меня бабушка отпустила.

— Так мы же далеко, куда тебе, — сказал Минька с надеждой, что она еще раздумает и вернется домой.

—Подумаешь, что я маленькая, что ли?

— А если волки,— наступал Минька.

— Да я на березу еще быстрей вас залезу, — не поддавалась Танька.

— А если разбойники? — вставил Яшка.

— Девчонок они не трогают. А если что — я еще быстрей вас бегаю, вы не думайте.

— Не думайте, не думайте... Заладила! — в сердцах закричал Минька. — Бот возьму прут да как начну обихаживать...

Танька уронила ведерко, отвернулась. Худенькие плечи ее задергались. Миньке стало жаль ее. Он знал, что не от хорошего приезжала она со станции на лето. Семья у них большая, а в городе не только пучек и ягод — лебеды и той не найдешь. А ходить ей тут и правда не с кем. Бабка старая, девчонок-ровесниц нет. Пусть уж идет. Эта хныкать не будет, не из тех. Как ни прятались с Яшкой, а все же выследила, проныра...

Минька поднял ведерко, дотронулся Танькиной руки.

— Ладно, пойдем. Слова сказать нельзя...

Подходя к большому бабушкиному дому с резными ставнями и старинным кружевным карнизом, Минька прикидывал — одному зайти в дом или всем вместе. Если пойти одному, то бабушка даст хлеб только на одного, а если всем, то, может, каждому помаленьку отломится. Ввалились все, оставив посудины за порогом. Минька туда-сюда поширял взглядом и повеселел даже: деда дома не было. Бабушка вязала чулок из овечьей шерсти, сидя у окна на лавке. Это ее любимое место. С него видна почти вся улица и дорога на станцию, по которой возили хлеб на элеватор, почту, ездили на базар. Бабушка каждый день с нетерпением поджидала почтальона. Трое сыновей, братьев Минькиной матери, были на фронте. В сороковом урожайном году они заработали много трудодней в колхозе, засыпали зерном всю бабушкину кладовку, и потому хлеб у нее не переводился. Много ли им с дедом надо. Минька нет-нет да забегал к бабушке, подкармливался. Плохо, если заставал его в доме дед. Доставалось тогда и внуку и бабушке. «Наплодили, а я корми!» — разорялся он, будто десятерых заставал в избе, а не одного Миньку.

Перед войной дед купил младшему сыну Андрею велосипед, а когда того взяли на фронт, спрятал сверкающую никелем машину в подпол. Бабушка не раз пробовала выпросить «самокат» для Миньки, но дед сразу взъерошивался и начинал материться. А этой весной выбросил велосипед за огород — перержавленный, изъеденный подпольной сырью.

Бабушка Анисья медленно перебирала вязальными спицами и, раз взглянув, больше не смотрела на поздоровавшуюся и притихшую у порога ватагу. Видно, довязывала круг и боялась спустить петли.

Яшка пошвыркивал носом и все переступал с ноги на ногу, норовя правой ногой прикрыть левую, на которой цыпок было почему-то больше. И доперестуПался до того, что бабушка обратила внимание на его ноги, отложила вязанье.

— Эко, ноги-то довели до какой беды, —сказала она укоризненно и покачала головой.— И куда только матери смотрят. Так ведь и обезножить недолго.— Она долго, задумчиво смотрела в окно на пустынную улицу, вздохнула:

— Да и когда им смотреть-то, с темна дотемна на работе.

Рябятишки молчали.

«Ну — все, —подумал Яшка, — хлеба не видать теперь, как своих ушей. Зря только боль на речке терпел».

— Что же ты, Михайла, давно не забегал?— обидчиво спросила бабушка.

Минька подумал, решил не тянуть дело и тут же, в ответе, намекнул и о цели сегодняшнего прихода.

— Некогда было. Рыбачил эти дни, а один день помогал дяде Косте-богатырю коров пасти. Да хлеба у нас было малость, мамка в колхозной кладовой получала. Пополам с картошкой. Вот и не приходил.

Теперь бабушке стало ясней ясного, зачем зашла ватага. Она поднялась и тяжелыми шаркающими шагами направилась в куть. Вернулась с большой, едва початой буханкой и, прижав ее к животу, отрезала каждому по толстому ломтю еще свежего, без всяких примесей, ржаного хлеба.

— Ешьте на здоровье...

— Мы тебе, бабушка, ягоды принесем вечером,—пообещал Яшка, поворачивая к двери.

— Ладно, ладно, сами-то хоть...

Бабушка Анисья уже положила хлеб и, стоя посреди избы, искала глазами, куда это она подевала недовязанный чулок.

В знойный день деревья, как и люди, мало шумят, разомлевают. Березовые.

налитые до синевы листья, висят недвижно, отягченно. Даже упругая с виду ветка, после слетевшей с нее птицы, колышется лениво и недолго. От речки Крутой потягивает порой ветерок-свежак, пропитанный запахом хмеля, опутывающего черемушник по речному разлому. Но свежак этот настолько слаб, что не в силах расшевилить березового леса. Только молоденькие осинки, разбавляющие березняк, чувствуют ветерок, мелко-мелко подрагивают, как от озноба. Твердые осиновые листья ударяются друг о дружку при колебании, будто лопочут, торопясь, таинственную лесную сказку. Если вслушаться, то можно даже понять кое-какие слова.

Так кажется Миньке. Лес, конечно, никаких слов шептать не может, но все равно приятно после долгой ходьбы по мысам лежать на спине, раскинув руки, и слушать с закрытыми глазами лесные шорохи. Рядом лежит Яшка, положив под плешастую голову ворошок сорванной травы. После съеденного хлеба с клубникой, он как-то сладко, по-кошачьи жмурится. Танька, та не привычна к лесу, все боится, что мураш заползет в ухо.

Солнце уже настоялось в верхней своей точке и, словно притомившись от неподвижности, тронулось книзу, хотя до вечера было еще далеко.

Ребятам сегодня повезло. Они, после долгих поисков, наткнулись наконец на ягодное место. Южный склоник неприметного с виду холмика был сплошь усыпан крупной медвяной клубникой. Они наелись досыта, быстро наполнили свои посудины. Решили на днях снова побывать у холмика, поэтому договорились никому не говорить о нем в деревне.

Отдохнув, ребята направились домой. Они долго плутали в густом, мрачном околке, пока не набрели на тропу. Березняк стал заметно редеть и мельчать. Догадались, что тропа выводит их на опушку, а от нее до деревни рукой подать.

Вдруг впереди кто-то протяжно и жутко крикнул.

— А-а-а-ы-ы!

Яшка, шагавший по тропе первым, сбился с шага, голову в плечи втянул.

Эхо несколько раз повторило крик, раскидало по лесу.

— А-а... ы-ы!...

Остановились, прислушались. Но крик больше не повторился. Только лес шелестел, пошумливал, как всегда, да за Минькиной спиной дробно зачакали Танькины зубы.

— Может, убили кого, — прошептал Яшка, синея губами.

Минька открыл было рот, но сказать ничего не успел, будто подавился словом. Неподалеку затрещал валежник, гулко, треснуло, ломаясь, сухостойное дерево — кто-то, шумно сопя, продирался из чащобы к тропе.

Ребят словно ветром подхватило. Минька обогнал Яшку и летел первым, перепрыгивая через пеньки и кочки. Сзади слышалось прерывистое, проголосное дыхание Яшки да побрякивание дужки Танькиного ведерка.

Из леса выскочили как ошпаренные. Коровы, лежавшие на опушке, в затеннице, повскакивали пугливо и косились на них, разглядывая.

— Фу-у! — Яшка опустился на выкошенную луговину.—Да это же дядя Костя коров здесь пасет, а мы...

— Мы, мы... Кабы знатье — не бежали бы.

Коровы — которые лежали, которые лениво пощипывали молодую отаву. Жара схлынула, и слепни не тровожили их.

— Смотри-ка! — крикнул Яшка, показывая на березу. На сучке ее висел Костюхин бич с гладкой рукояткой-таволожкой.

— Где же он сам-то? —Минька снял с березы тяжелый бич.

— Это он, наверно, кхе... кхе... кричал, — подала неуверенный, осипший голосок Танька, и ребята, почувствовав неладное, снова тревожно заозирались. Еще бы, крик-то был, ровно поросенка резали.

Осмотрели стадо. Недалеко от висевшего на березе кнута, в кустарнике, обнаружили Костюхину шинель. Не расстелена была, брошена комом. «Что же стряслось-то?» — подумал Минька, но страха такого, как в лесу, не было: деревня видна. В случае чего— удрать запросто можно.

Наконец, обогнув раскидистую боярку, ребята увидели пастуха. Костя-богатырь, растрепанный, потный, враскоряку сидел на высокой копне сена. На такую высь без хорошего разбега ни за что не вскочишь. А кругом копны ходил пестрый, с толстой морщинистой шеей, бык-двухлеток, топал, разбрызгивая ко-

нытом землю, и белыми глазами косил на Костюху.

Минька не раз помогал Косте пасти, пока их Буренка привыкла после зимы к стаду. Он знал, что с этим быком надо ухо востро держать. Чуть заметит пастуха без бича или палки — хана тогда.

— Бич, бич там... на суку, — простонал Костюха, увидев ребят. Он даже не заметил свой бич на плече у Миньки.

Поставив корзинку с ягодой, Минька подошел к быку сзади и с оттяжкой врезал его по ногам. Бык от неожиданности и боли взревел и пошел к лесу тяжелым скоком, тряся отвислой грудиной.

— По мошне, по мошне его, паразита! — подсказывал Костя, на брюхе сползая с копны. Он отошел от сена, прихрамывая и держась рукой сзади, ниже поясницы. Взял у Миньки кнут, издалека пригрозил быку:

— Ты у меня еще поревешь. Я из тебя дурь-то выбью!

Костюхе было неловко перед ребятами —впросак попал с быком! Кто же будет после этого богатырем его считать? Он тут же придумал оправдание:

— Заговоренный он. Ераха-чалдон порчу на него напустил. Утром, когда я стадо выгонял, Ераха у ворот стоял.

— А чего это он, Ераха-то? —спросил Минька.

— Давно нас с ем мир не берет, — сказал Костя, поглаживая зад. — Еще до войны я ему два рубли задолжал за табак. Табачишко был так себе, дерьмо, не стоит тех денег. А Ерашенька с тех пор и стоит вспоперек. В отместку, значит.

— Так ты же, дядя Костя, сам всякие наговоры знаешь, что тебе Ераха?

Костя не раз похвалялся на деревне, будто в знахарствах разных собаку съел. За это бабка Протасиха и зовет его колдуном, когда они ругаются. Как-то раз Минька подпасил с ним. Коровы притомились ходить и улеглись в березняке. Прохладно было. Костюха воткнул в землю палку, намотал на нее свой бич, что-то шепча . «Спи ложись. Пока бич не раскручу — никуда коровушки не уйдут отседа»,—сказал он Миньке. Минька, набегавшись, задремал быстро. Когда подхватился да огляделся, ни одной коровы рядом не было. А Костя храпел так, что трава шевелилась возле рта. Минька не знал, будить ему пастуха или нет. Разбудить недолго, а вдруг ругаться станет? Он снова скрючился под кустиком, заснул. Второй раз Костя его разбудил. Вставай, говорит, бич я уже раскрутил, коровушки подниматься начинают. Минька глянул — и правда. Все коровы были на луговине, будто и не разбредались. А с Кости пот в три ручья, рубаха к спине прилипла. И догадался тогда Минька, что никакой он не колдун, а все только придумывает. И сейчас он о наговорах сказал просто так, чтоб польстить пастуху.

Костя долго думал, как выкрутиться, вздохнул:

— Знать оно, конешно, знаю. Покрепче Ерахи. Только глаз у меня, вишь, простокишный вроде, а у Ерахи-чалдона —черный. Потому евонное слово перешибает, — и, помолчав, добавил: — Не всегда, правда. Только в банный день.

— Седня как раз суббота и есть, — сказал Яшка.

— Вот-вот. Ну, я пойду, ребятки.

4

Яшка принес два толстых талиновых прута и пучок желтого камыша. Камыш крепкий, закостенелый. Прошлогодний. Нынешний-то еще жидкий, ломкий, только начинает выпускать темно-зеленые бархатистые палки-выцветы. Дальше к осени эти палки почернеют и будут торчать над камышами, как головешки.

— Зачем это?— спросил Минька.

— А ты догадайся. — Яшка спрятал камыш за спину, повеселел глазами.

Минька молчал, думал.

— На букву Лэ и Сэ, —подсказал Яшка.

— А ну тя, мало ли что ты придумаешь на своей пасеке.—Минька отвернулся, посвистывая.

— Ха, не можешь? Слабо? Лук и стрелы! А наконечники надо из жести нарезать. Как?

— Подумаешь, стрелы...

Миньке было немного досадно, что не мог сразу угадать Яшкину затею, которой он, Минька, очень обрадовался, но решил не подавать вида. Стоял, посвистывал, сунув руки в карманы штанов и этим как бы показывая, что не шибкото и думал над разгадкой, не так уж это интересно.

Но кого-кого, а Яшку не проведешь. Видя, что Минька сейчас же готов приняться за стрелы, только куражится, он схитрил:

— Не хошь, не надо. Я и один сделаю. А ножницы для жести в кузнице попрошу.

— Да ладно тебе,—сказал Минька, боясь, как бы Яшка и вправду не ушел. —Иди-ка подержи дверь, чтоб не закрывалась, я ножницы поищу.

Он стал копаться в темном углу сеней, в ларе, где отец хранил подпилки, гаечные ключи и всякие железяки. Под руку попала тонкая, с карандаш, медная трубка.

— Во! Никакой жести не надо. Нарубим, концы посплющиваем — и наконечники готовы!

— И точно, —согласился Яшка.

Изрубили трубку на острие топора. Обрубки заострили, насадили на камышины. Здорово получилось! Но тут вышла загвоздка: не из чего делать тетиву.

— Стой-ка, давай Таньку позовем,— предложил Яшка, что-то вспомнив.

Он перебежал дорогу, сунул два пальца в рот, пронзительно свистнул в Протасихин двор.

Хлопнула дверь, и Яшка увидел поверх калитки, как запорхал Танькин красный бант, приближаясь.

— Чего свистишь-то? — спросила Танька, явно обрадованная тем, что ребята сами позвали ее.

— Тише ты, —сказал Яшка и огляделся, хотя кругом не было ни души.— Тут — тайна. Чтоб ни-ни, поняла?

Танька кивнула. Глаза ее сразу засветились любопытством. А Яшке того и надо. Главное — напустить таинственности, иначе толку от Таньки ждать нечего.

— Ты видела, дед пимы подшивал? У него еще дратва есть?

— Есть. Целый клубок в сенях надо дверью. А зачем?

— Тише! Тут такое, что волосы дыбом встанут. Отрежь нам дратвы два раза по столько.— Яшка развел руками.

— Ага, чтоб влетело. Спросите у деда.

— Так он нам и дал. Расспросы начнет—зачем да куда. Что ты деда не знаешь?

Любопытство взяло верх. Танька сбегала в избу и скоро вернулась. С дратвой.

Минька ждал их у своей калитки. Взял у Таньки дратву, согнул пружинистый прут, прилаживая тетиву.

— Фи-и, ох уж и та-айна, — разочарованно протянула Танька.

Яшка, довольный, улыбался во весь рот.

Для начала постреляли в калиточный столбик — неплохо получается. Луки тугие, наконечники стрел тяжелые, глубоко впиваются в дерево. Попадись даже крупная кряква на воде под такую стрелу шагов за двадцать—все, не подняться уж ей на крыло.

Набив руку на столбике, ребята решили сходить за огороды, к болоту. Может, бурундук попадется, а то и косой. Зимой-то все болото и даже огороды в зайчиных набродах.

Стрелы держали наготове. Зорко, как заправские охотники, всматривались в приболотные заросли, пригибались на голых местах, делали короткие перебежки.

Обошли кругом болота, но так и не встретили никакой дичи. Орлик, черт. Из-за него все... Третий круг уже делает, все кусты и кочки обшнырял.

— Айдате к пасеке, — предложил Яшка.—Уж там точно кого-нибудь подстрелим.

Но и возле пасеки — то же самое. Правда, в самую гущу засеки ребята идти не посмели. Густа засека, сумрачна и, будто пряжей льняной, опутана тяжелым хмельником. Даже Орлик все больше по опушке носился.

И вот, когда охотничий азарт стал совсем угасать, налетела откуда-то с поля горластая стая галок, облепила сплошь раскидистую талину. Чудные какие-то галки. В деревне они всегда садятся на амбары, плетни, в поле — на суслоны, стога или прямо на землю. А эти — на тебе! — на дерево.

Минька шепотом наказал Таньке сидеть на одном месте, держать Орлика, а сам, прячась за кустами, пополз к талине. Яшка — за ним. Подползли совсем близко. Минька обернулся кивнул Яшке, и они разом вскочили на ноги.

— Кы-ыш!

Черная плотная туча взметнулась с талины, и две стрелы, золотисто блеснув на солнце, ударили по ней, в самую гущу.

Было хорошо видно, как одна стрела, просквозив галочью стаю, улетела в Крутую. И тут же от стаи, суматошно набиравшей высоту, отделился комок, растрепанно перевернулся в воздухе и шмякнулся на землю. Галка. Не выцеленная, случайная.

— Ур-ра!— закричал Яшка.

Они кинулись искать упавшую птицу. Минька сбернулся, чтоб помахать Таньке, но та уже бежала к ним сверкая коленками.

Галка лежала на боку. Медный наконечник стрелы почти весь вошел под левое ее крыло. Когда ребята подбежа-

ли, она затрепыхалась на траве, перевалилась на грудку и все силилась закрепиться так, вяло всплескивая подламывающимися атласными крыльями. Поднятый клюв ее беззвучно открывался, немигающие большие глаза смотрели на ребят не испуганно, а как-то тоскливо-тоскливо, будто понимали все и корили: «Ну за что вы меня?». Потом они стали мутнеть, заволакиваться сверху белой пленкой. Галка еще раз судорожно раззявила клюв, да так, с раскрытым, ткнулась в траву и больше не шевелилась.

Ребята стояли молча. Первая охотничья удача нисколько не обрадовала. Мало ли убивали они воробьев из рогаток. Но воробей что? Кувырк — и вроде не жил. И не жалко ничуть. А галка, живая еще, так смотрела...

Минька склонился, хотел вытащить стрелу, да раздумал. Почему-то не захотелось браться за нее.

Вдалеке, за Крутой, по-прежнему весело галдели галки, играя. Поди, и не заметили, что одной не хватает.

— Ну зачем вот... — сказала Танька, чуть не плача.

— Хватит тебе! — цыкнул на нее Минька, будто она все время говорила и надоела уже.

— Галки вредные, — как бы оправдываясь, сказал Яшка, — они колоски в полях общипливают.

— Сами вредные. — Танька схватила лежащие возле убитой галки луки и зашвырнула в засеку. И стала поодаль, сторожа каждое движение ребят, готовая задать деру. В другой раз влетело бы ей за такое как пить дать. А тут ребята словно не видели, и ухом не повели.

Не успели ребята отойти от галки, как Орлик сгреб ее и, урча, потащил в кусты.

— Зайдемте к нам, — пригласил Яшка.

Пошли к пасеке. Минька с Танькой выломали ветки — отмахиваться от пчел.

— Вы шибко-то не машитесь, — предупредил Яшка, — а то от пчел отбою не будет. Они не любят, когда машешься. Живо изжалят.

Хорошо говорить Яшке, к нему и не подлетают, будто понимают, что свой.

Пасека похожа на игрушечную деревеньку с одинаковыми домиками. Раздолье тут пчелам. С одной стороны засека, где они берут мед по весне с черемухового цвета, а летом — с хмеля, белоголовника. С другой стороны гречишное поле, а перед ним — клеверище. Да и вся лощина речная богата разными медоносными травами и цветками. Потому безмедица на пасеке бывает редкий год.

К приречному мыску притулилась сторожка — низкооконная рубленая изба. Тесовая крыша от старости да дождей и туманной влаги темной сделалась, мшистой прозеленью закуржавела. А под окошками, вровень с крышей, выдобрел на низинных соках дикий малинник да крапивный дурбень. Из рассказов Миньки знал, что поставил избу Федот Карпухин, Ганькин отец. Это его пасека тут была, когда еще жили единолично.

Яшкина мать в сетчатой накидке и с дымокуром в руках проверяла колодки. Увидав ребят возле избушки, накрыла улей и, подойдя, заругалась на Яшку:

— Яшка, сколько раз тебе говорить: не лазь сам в чан! Из дому хоть не отлучайся. Вот наказанье-то мне...

— Не лазил я в чан, — сказал Яшка, чувствуя неловкость перед ребятами.

— Ладно уж, еще отпираться будет! Пособирай-ка хворост, печку затоплять буду.

В раскрытую дверь сторожки Минька увидел медогонку и большой цинковый чан для меда. Подумал: если бы Яшка не полез в чан без спросу, то тетка Марья сейчас не ругалась бы и, может, угостила их. А теперь — все, и не пахнет медом. Он потихоньку дернул Таньку за рукав платья, кивнул на тропу к деревне.

Яшка проводил их до речки и свернул к засеке — сухостойные тальничины на растопку ломать.

Перешагнул Минька порог своей избы и остановился растерянно. На лавке у стола сидел Ганька Карпухин, курил, вытянув раненую ногу. От табака или еще от чего веял по избе какой-то непривычный Миньке запах. На столе стояли стаканы с чаем и блюдца.

— О-о, дружба! — грохотнул Ганька прокуренным басом. — А я, брат, на уху к тебе зашел, а попал вот на чай.

— Не ходил я еще рыбачить, — сказал Минька, радуясь, что Ганька все-таки пришел к ним.

— Садись, ешь, пробегался. — Наталья повернулась к Миньке.

— Не, я потом, — отказался Минька.

Какая тут еда, если Ганька пришел. Хоть и не было на Ганькиной груди медалей, но и так сразу видно — герой. Плечи широченные, как только гимнастерка не лопается. Густой чуб сбит в

сторону, а глаза бойкие, искристые. И усы совсем как у Чапаева на картинке.

Ганька тут же и забыл про Миньку, только изредка взглядывал на него, продолжая с Натальей прерванный разговор. Они вспоминали, видно, давние свои годы. В разговоре то и дело мелькало «а помнишь? а ты не забыла, как?..», Наталья то задумчивой делалась, то просветлялась лицом, обрумянивалась.

Посидев немного, Ганька взял фуражку, повертел в руках, снова положил на лавку. Закуривать новую папиросу стал.

— Куришь-то много как, — сказала Наталья, отмахивая от себя выпущенный Ганькой дым.

— Степан ведь тоже...

— Курит вовсю, — подхватила Наталья. — Да только отвыкла я за три года. А тогда не замечала. Мужний-то дым глаза не ест.

— Оно так. — Ганька погрустнел. — Я до войны, ты же знаешь, в рот не брал. А там после одного переплета закурил. И вот...

— Расскажи, дядь Гань, — попросил Минька, подвигаясь ближе.

— Машина у нас в части была. Полуторка, — после недолгого молчанья начал Ганька. — Цилиндры у ней или еще что-то там полопалось. Однем словом — встала машина, и ничего с ней в тое время нельзя было сделать. Шофер, понятно, горюет. Кому охота окопы копать? Командир подошел, посмотрел и говорит: видел, как из штаба ехал, разбитую машину. Километрах в пяти, в тылу. Полуторка тоже. И приказывает двум шоферам и мне живо смотаться к той полуторке, проверить, и если на ней мотор целый — снять. Ну, поехали. Глядим, и правда стоит на проселке машина, кузов в щепки разнесен и колес задних нет — по сторонам валяются и чадят. Ребята-шоферы открыли капэт, стали мотор глядеть: целый, говорят. Принялись гайки откручивать. Я в моторе не понимаю, стою жду, чтоб потом пособить снять его и погрузить на нашу машину. Тут из-за леса «мессер» вынесся. Мы опомниться не успели, как он полоснул из пулемета. Я-то успел под машину упасть. Когда поднялся, гляжу: ребята как лежали на моторе, так и застыли. У обоих гимнастерки на спине прошиты во многих местах. Вот-те думаю, и съездили... Положил их в воронку, документы забрал и пошел в часть, чтоб доложить командиру и прийти с бойцами, похоронить шоферов...

Ганька пригасил папиросу, выбросил в открытую форточку.

— Прошел немного, вижу: передо мной немцы на дорогу вываливают. Обошли, значит, оборону нашего полка и в тыл вышли. Цельного-то фронта тогда, в сорок первом, не было еще. Не поймешь, кто и где. Ну, обступили меня, по зубам съездили, хохочут. Винтовку, понятно, отобрали сразу. Потом один немец повел меня в лес. Ну, думаю, кранты. А он все ведет. И тут я смекнул, что в штаб или еще куда. Я совсем слабым прикинулся. Руку правую придерживаю, морщусь. А сам и правда в крови весь — об ребят измазался, когда их в воронку клал. Обернулся я, вижу, немец приотстал, закуривает. Я ему маячу левой рукой: мне, мол, дай. Он лопотнул что-то, но сигарету протянул. Взял я, склонился к его зажигалке да как шарахну его под дых изо всех сил. А сам бежать. Бежал до тех пор, пока в глазах потемнело. Кое-как добрался до полка. Гляжу — сигарета немецкая в руке. Взял да закурил. Так вот и курю с тех пор... А немцев, что в наш тыл прорвалось, мы в тот же день расколошматили.

— Вот это да! Дядь Гань, это тебе медаль за того немца дали? — спросил Минька, слушавший с открытым ртом.

— Не за немца, а что полк выручил. Наши-то не знали, что немцы обошли.

— А-а.

Ганька снова взял фуражку, поднялся.

— Так я завтра приду. Пол этот я за день перестелю, — сказал он, глядя на скрещенные под грудью полные Натальины руки.

— Да ладно, постоит еще, — робко отказалась Наталья, смущаясь долгого Ганькиного взгляда.

— Сказал — сделаю.

Ганька хлопнул Миньку по плечу, потрепал вихры и, постукивая тростью, вышел.

5

Ганька обещался перестлать пол за один день, но вот уже третий обеденной жарой схлынул, а работа еще не была кончена. Разобрать пол проще пареной репы. Гвозди выдергой повытягивал, выворотил плахи — и готово. Особенно долго пришлось повозиться с новой матицей из толстой, вылежанной на солнце березы. Отесать ее и уложить надо ровно, чтоб половицы не колебались на ней, не скри-

пели потом, не щелялись. Дело не простое, и тут даже Минька смекнул, что по плотницкой части Ганька не шибко силен. Во многих местах он затесы глубоко взял, и когда стал стелить половицы, то между слегой и полом паз получился. Пришлось клинья вытесывать и подбивать.

Поначалу Минька охотно помогал Ганьке, а потом надоело возиться со щепой да стружкой, чихать от пыли. Ждал, что Ганька за работой будет о войне рассказывать и вообще будет весело и необычно с ним. Но тот работал больше молчком или насвистывал что-нибудь. Иногда покрикивал, чтоб Миньку то выдергу подал, то молоток. И уже без прежнего «эй, дружба».

Прибежал Яшка с пасеки. Посидел, посидел на пороге, да так и ушел, не услышав от Ганьки ни слова.

Миньке даже как-то обидно сделалось. Только однажды заметив, как морщится Ганька, ощупывая больную ногу, подумал: «Нога болит, не до разговоров ему». А когда пришла мать, обида на Ганьку совсем прошла потому, что Ганька сразу повеселел, взял у Миньки молоток, которым он выпрямлял гвозди, сказал тепло:

— Отдохни, дружба. Сам я вдосталь умаялся и тебя, вижу, умотал. А?.

— Да не, — сказал Минька, — я не пристал.

Ганька закурил и, выйдя в огород, растянулся под черемухой. Орлик, привыкший к Ганьке, тоже улегся рядом, положив морду на лапы и постукивая хвостом по траве.

Когда Наталья, собрав на стол, пришла за Ганькой, глаза его были закрыты, дышал покойно и глубоко, и недокуренная папироса дымилась в откинутой руке. Чуть приметная улыбка тревожила губы под прокуренными усами. Гимнастерка взмокрела под мышками, и все его крупное тело было расслаблено.

Наталья постояла, всматриваясь в Ганькино лицо, потом склонилась, дотронулась до его плеча.

— Гань... Гань!

— А? — всполохнулся Ганька. — Фу-ты черт, задремал вроде.

— Иди, перекуси чего...

Закусили окрошкой с огурцом и луком. Потом пили чай с медом. Чаю такого Минька давно не пивал. Разохотился так, что три стакана подряд выдул. Даже в пот бросило.

— К вечеру закончу. Пол будет — хоть свадьбу играй на нем, — сказал Ганька, поднимаясь из-за стола.

— Какой уж будет, не хоромы, чай. Ты с этим полом на гриву какой день не ездишь.

— Нечего там счас делать. Вот уборка начнется, тогда надо будет приглядывать. Ну, Михайла, готовься к последнему наступлению.

Прибрав посуду, Наталья ушла на ферму, а Ганька с Минькой снова принялись за работу. Только стукоток стоял. Минька придерживал половицы, чтоб не отходили одна от другой, а Ганька с молотком ползал на четвереньках, держа в зубах гвозди.

В раскрытую дверь влетали голоса ребятишек, играющих за воротами, гогот гусей. Потом ребячье разноголосье поумолкло, кто-то хриплыми, тараторчивыми выкриками перекрыл уличный гам. Орлик на этот хриплый голос зашелся лаем и кинулся от крыльца к калитке. «Тряпичники, наверно, едут», — подумал Минька. Не раз через деревню проезжали тряпичники на подводах, и у них за непригодное к носке барахло можно было выменять крючки с лесками, удочки, перья «рондо» и «пионер». Они всегда зазывали людей, выкрикивая на всю улицу разные складные прибаутки.

Минька выглянул за дверь. Какой-то старик в мерлушковой шапчонке, криво надетой, с большой кожаной сумкой через плечо, уже вошел в ограду, прикрыл за собой калитку и, не обращая внимания на собаку, направился к избе.

Минька прицыкнул на Орлика, и тот с виноватым видом залез под крыльцо.

— Кто там? — спросил Ганька из сеней.

— Не знаю. Я думал, тряпичники приехали, а это старик какой-то. Помиродник, наверно.

Старик у крыльца сбросил сумку на землю; в сумке взбрякнули какие-то железяки.

— Паять, лудить есть чего? Донья ведрам вставить могу, обруча на кадки набить... — Старик шапкой вытер парную лысину.

— Мамки нету дома, а я не знаю, — сказал Минька.

Дед внимательно оглядел ограду, стайку, по углам избы прошелся слезящимся взглядом.

— Давно-о стоит, худая стала, избенка-то.

Прихрамывая вышел на крыльцо

Кемеровская областная научная библиотека
Краеведческий фонд
№ 251063

Ганька с молотком в руке. Старик уже вскинул было сумку на плечо, но, увидев Ганьку, снова брякнул ее о землю.

— Карпухин вроде? Гаврила?

— Он самый, — холодно сказал Ганька, всматриваясь в пришельца. — А-а, вон ты кто такой... Живой еще, значит?

— Живой, паря. Не прибирает господь.

— Живешь-то где?

— А где мне жить? Где люди, там и я. Живу-кочую, кто пустит, у того и ночую, — засмеялся старик. — На фронте ногой-то пострадал?

— Там, где ж еще...

— Ишь ты, — удивился старик, и Минька заметил, что удивленье это Ганьке не по нраву пришлось. Губы плотно сжал, усом дернул.

— Так-так... Родитель-то твой где чичас? — спросил дед, берясь за ремень сумки.

— Там, где и ты был бы, кабы твою тарахтелку татары не порушили, — ответил Ганька раздраженно и тихо, будто для себя, а не для деда, добавил: — Как увезли, так ни слуху, ни духу. Может, и кости давно сгнили.

— Оно так, все может доспеться... А меня, Гаврила, ты тута не к месту помянул. Не того я поля ягода. Раскулачивать меня нечего было. Поговаривали после, что другой кто-то зло-то содеял. Знал, что у меня карманы пусты, не на что ремонт исделать. Порушу, мол, да и куплю за бесценок. Так аль нет?

— Не знаю, — отрезал Ганька, хмурея.

— Ты, можа, и не знаешь, где тебе... Вот родитель твой, тот все-е знал. — Старик вскинул сумку на плечо и, не взглянув на Ганьку, пошел к калитке. Скоро его голос послышался в соседнем дворе:

— Ведра паяем, донья вставляем — любое ремесло знаем. Берем мало: кусочек сала, аль щец с огонька, аль глоток молока, окраек хлебца ржанова, а нет ничего — так за доброе слово!...

Бабка Протасиха, стоя у своих ворот, долго глядела вдоль улицы, всплеснула руками:

— Батюшки мои! Никак, Сысойша-мельник!

А Ганька словно позабыл про пол. Курил на крыльце, часто и глубоко затягиваясь, постукивал по порожку молотком, сжимая ручку так, что пальцы побелели.

Вечером возле кашемировской ограды сидели на лавочке дед Протас и пастух Костюха. Чадили синедымным самосадом.

Ганька с Минькой, умывшись после работы, тоже вышли за калитку, подошли к старикам.

Костюха был в шинели, которую не снимал даже в жаркие летние дни. Никакой другой одежины он не признавал. Когда излохмачивали шинель окрестные околки да деревенские собаки, он ехал на базар и у какого-нибудь солдата-инвалида покупал другую. Жил он недалеко от Кашемировых в маленькой избенке с плоской дерновой крышей, сплошь заросшей буйной свинцовой полынью. Из житейского инвентаря имел Костя старый зазубренный топор, пятиколенный сыромятный кнут, который всегда носил при себе, опоясываясь им, да таловое удилище, такое длинное, что один его конец свешивался с полынной крыши в ограду, другой в огород.

В деревне, известно, таких нерадивых хозяев уважают не очень, но к Косте относились хорошо за его многолетнее бессменное пастушество, компанейский характер и бесконечные, рассказы о своей силе и удальстве.

Ганька домой не шибко, как видно, торопился, присел, стал обсуждать с Протасом последние фронтовые новости, вычерчивая что-то на земле палкой. Костя в их разговор не встревал потому, что солдатом никогда не был, читать не умел и во всяких военных клиньях и охватах ровно ничего не соображал. А поговорить ему хотелось, не привык на людях молчком сидеть.

Когда надоело о войне, заговорили о «ранешном» житье, о пашнях. Вспомнили, где чья пасека была, где чей отруб. Как только помянули про коней, Костюха оживился, распахнул шинель, принял воинственный вид. Приткнув к столбику лавки окурок, начал:

— Был у меня случай, когда конюшил у одного купца в Томском-городе. В том годе аккурат германец первый раз на Расею пошел. Да... Со мной еще двое парней, молодяжник совсем. Сидим както в хомутной, они ко мне: Костя, своди жеребца к проруби, нам надоть идти на кулачках биться. Праздник какой-то был. Идите, говорю. Ушли они оболокаться, а я, это, вывел жеребца из конюшни и повел его по дороге к Томе. А жеребец был не жеребец — зверюга! Его к проруби поить ведешь, а ему поиграть надоть. Молодой, застойный. Парни-то, те вдвоем всегда водили. Да...

Купчишка стоит на крыльце, блажит: «Кому коня всучили, варнаки! Изувечит он мужичонку!». А конь и впрямь разыгрался. Шею калачом выгнул, глазищи кровяные округлил и все норовит копыта надо мной взять. Я, это, подыргиваю оброть-то, осаживаю его потихоньку, в чувство привожу. Да надоела ему, видать, такая музыка. Кэ-эк он взнимется на дыбы. Прозевай я немного — хана бы мне...

— Ну, ну, дальше-то что? — нетерпеливо спросил дед Протас и заерзал на лавке.

Костюха выдержал паузу и закончил с безразличием в голосе:

— Ну я дернул его легонько. Брякнулся он к моим ногам, аж селезенка екнула. Купчишка ревет на крыльце: «Отберите коня! Ухайдакает его этот варначина!» А тот полежал, оклемался и пошел к проруби как миленький. Куда игрота делась...

Минька смотрел на пастуха с восхищением. Много раз слушал его, и с каждым разом он все интереснее рассказывал. А дед Протас только головой качал, хорошо зная, что в Томске Костя отродясь не бывал. На одной улице и родились они и состарились. Услышанные на стороне истории Костя до неузнаваемости переиначивал, допридумывал многое, вводя в них себя главным лицом. Поначалу Протас пытался было осаживать Костю в безобидном его вранье, но тот только улыбался добродушно, махал рукой: «Дак ить когда было-то? По молодости все. Перезабыл ты, Протас. Не помнишь, поди, как старуху-то твою зоут». С годами Протас притерпелся, привык, а состарясь, и вовсе с интересом слушал про похождения Костюхи.

Минька посидел, посидел и, боясь, как бы разговор не повернул в другое русло, спросил:

— Ну а что с ребятами, дядя Костя, на кулачках-то?

Костюха благодарно посмотрел на Миньку, забасил снова:

— А чо им, ребятам? Пристали тут же ко мне: пойдем да пойдем с нами на лед. Кулашника-де привезут известного, выручи. Я, само собой, согласился. Только, говорю, горло бы промочить малость. Ребятки смекнули — хлоп четверть самогонки на стол. Осушил я одним махом половину — и на Томь. А там уже наша сторона зареченску валтузит, только зубы отлетают. Потом, слышу, кричат: «Везут! Везут!» Кулашника, значить, зареченски привезли. Кони добрые, кошева расписная, медвежиной шкурой застелена. Да... Смотрю, идет прямо на меня, привозной-то. Широкий из себя, страховидный, в брезенте весь, а на ногах обутки с зубьями. Наперво мы руки друг дружке пожали. Тиснул он мою — у меня, веришь нет, аж в пятках кольнуло. Я тиснул — у него кровь из-под ногтей показалась. Осерчал он да кэ-эк ужварит меня, ровно кто бревном двинул. В санку он норовил, а угодил в плечо. Я пошел веретеном по льду-то. На ногах, однако, устоял. Ну, говорю, держись теперя, мил дружок. И с этими словами ткнул его легонько в бок... На той же кошеве и увезли его обратно. После сказывали, три ребра я ему вышиб и внутренность повредил...

Рассказывая, Костюха размахивал руками у самого Протасова носа, показывал кулачные приемы. Протас опасливо отодвинулся ворча:

— Пошто руками-то махаешь? Эдак и зашибить недолго, много мне надо?

— Это еще так себе, а вот когда я... — начал было Костя новый рассказ, да Ганька, слушавший рассеянно, перебил:

— Хватит трепаться тебе, Костюха. Городишь каждый раз — уши вянут. Было бы что послушать, а то...

Костя примолк. Обиделся. Повернул к Ганьке сердитое лицо.

— Не ндравится — ступай. Мы тя за полу не держим.

— Оно, ежели посмотреть, то конешно, — поддержал Костю Протас и полез в карман за кисетом.

Старики долго курили в неловком молчании. Только табак потрескивал при затяжках. Ганька, навалясь на ограду, посвистывал, смотрел вдоль улицы, уже угомонившейся и притускневшей от оседающих сумерек. Уходить не уходил, но стариков не задевал больше. В ограду несколько раз зыркнул глазами, увидел, как прошла в стайку Наталья, брякая дужкой подойника.

— О-хо-хо, — широко зевнул Костюха, вставая и запахивая шинель. — Спину второй день разогнуть не могу.

— К непогодью, — заключил Протас. — Скоро Ильин день, а он редко без дождя бывает. Хоть бы погодушка хлеб дала убрать, как сено. Ты, Костя, много нынче сена-то наставил?

— Да где там... Покос-то у меня на мысу, никудышная травенка. Так, возиков пять с горем пополам набил. Ходил

в контору, просил травы где-нибудь — нету, говорят.

Минька, по привычке болтавший ногами под лавкой, вспомнил, как на стогу стоял, как незнакомые мужики за логом дометывали стог, и выпалил:

— А за Узкой Гривой чужие какие-то колхозную траву покосили и стог здорове-енный поставили. Я сам видел. Хоть у дяди Гани спросите.

Минька думал, что Ганька заговорит со стариками и они забудут обиду на него, а то вон и не глядят, будто его нету здесь. Но Ганька неожиданно вспылил:

— Шел бы ты спать, сопля зеленая. Не суй нос куда не просят. Уши за это драть надо!

Минька съежился, соскользнул с лавки и пошел в ограду, как побитый. Не потому, что испугался, а просто пусть Ганька увидит, что Минька не хочет с ним сидеть и разговаривать. «То ему не ладно, другое. Подумаешь, какой! А еще на уху набивался. Так я ему и разбежался теперь. Шиш!».

У крыльца Минька оглянулся. Старики пошли от ограды, только Ганькина папироса искрила в сизых сумерках.

В избе Минька сел на кровать, наблюдая исподлобья, как мать цедила в кути молоко и составляла кринки под лавку. Потом подойник ополоснула, гусиным пером с шестка угольки смела. Взяла всегда стоявший на виду, на столе, портрет отца в рамке, сунула его в шкафчик, накрыла стол чистой скатеркой. Спросила Миньку:

— Га... тьфу ты! Костюха сидит там, не ушел еще? Надо мне его...

— Ушли они, — буркнул Минька, сердито сопя.

Наталья остановилась перед ним.

— Что это надулся-то? Опять, поди набедокурил что-нибудь?

— Ничего я не набедокурил.

— Молчи уж! А то я не вижу. Губы-то вон, как сковородник сделались. Ложись давай спать. Я пойду гляну, где куры на ночь сели. Да стайку закрою.

Минька долго еще сидел на кровати. За печкой, среди ухватов и помельников, тренькал сверчок-незасыпа, потрескивала фитилем лампа-пятилинейка. Убавленный для экономии керосина огонек ее освещал мутно только стол да чувал печной, а углы избы и куть — в пугающем полумраке. Хоть и хорошо в избе, уютно, привычно все, но страшновато одному. Неловко как-то.

Минька раскрыл окно, высунулся на улицу. Тихо на улице, стемнялось совсем. Воздух против дневного заметно отволг, попрохладнел. Белесый дымок из трубы Протасова дома куделькой вытягивался вверх к низким, стеклянно поблескивающим звездам. Было хорошо слышно, как побулькивает на перекате речка и визжит колодезный ворот на конце улицы. Одинокий женский голос в речной лощине звал не пришедшую домой корову по имени Ночка. Он то замирал, то звал снова, уже в другом месте — протяжный и однотонный:

— Но-очка! Но-о-очка!...

6

Отшумливало, откатывалось травой-перекатышем спелое лето. Все дольше стали задерживаться по утрам знобкие, обильные влагой, слоистые туманы. Все чаще уныло шелестели по листьям и травам безгромные, холодные, будто просеянные через мелкое сито, дождики, запоздало поили усталую землю, как бы стремясь омолодить ее, придать свежести, но только ускоривая ее увядание. Всему свое время...

На мысах, где земля не так сильна соками, березы запестрели уже желтыми подпалинами, ранней осенней позолотой. Но эти первые желтые листья лес держит крепко даже в ветреный день, не хочет отряхать до поры до времени, не порадовав людей новым своим, недолговечным нарядом.

Осенью лес не тот, что в пору летнего буйноцветья. Тогда он могуч, мрачнодумен, таинственен. Много в нем и торных дорог, и еле заметных тропиночных извивов. И не скажешь сразу — человечьи эти тропы или звериные наброды, и неизвестно, куда они ведут — в болотистые согры или на солнечные поляны. Все скрывает непроглядная лиственная завеса.

Осенью лес понятней и ближе. Он не пугает, не настораживает, в нем много простора, света и прозрачного горьковатого воздуха. Осенью лес полон покоя, робости и тихой грусти.

Ходить по нему, любоваться паутинной сверкающей напрядью, разгадывать на свой лад отстукиваемую дятлами лесную азбуку, пить родниковую воду. Да, много еще есть на земле такого, что застит натемно красоту лесов и речек, перекрашивает в иные цвета, живет неизбывно...

Наталья долго смотрела на прядку березового леса за деревней. Потом отошла от окна, села на лавку. Руки ее безвольно упали в подол.

— Чем же, Минька, корову-то кормить будем? — вздохнула она и высморкалась в фартук. Знала, что Минька помочь тут ничем не может, но надо же с кем-то говорить, советоваться. Надо что-то делать. Слезами беду не отведешь, не зальешь. Это радость — чуткая всегда, слабая, гаснет, как спичка на ветру. Эту не погасишь. Правду говорят, беда в одиночку не является, одна к другой клеится. На днях выпросила лошадь, хотела сено перевезти домой до осенней слякоти, но стога не оказалось на месте. Широкий машинный след уводил к городскому тракту. С упавшим сердцем, отрешенная, походила она по поляне, перешла лог. Точно такой же след обнаружила и за логом, где косили незнакомые люди. Они и увезли ее сено, больше некому. Кто они? Где искать концы? О тех людях все, конечно, знает Ганя, который был с ними, когда они метали сено. Но ведь за руку-то не пойманы, не докажешь...

Слезы снова и снова наворачивались на глаза. От обиды, от бабьего бессилья, от жалости к себе. Почему, за что?..

Минька молчал, будто он был виноват в случившемся. Поглядывал на задумавшуюся мать. Хотелось ему сказать что-нибудь веселое, сказать запросто, легко, как сказал бы он, к примеру, Яшке или Таньке. И он вспомнил:

— Мам, Яшка говорил, что дед наш много сена наставил. У него покос рядом с пасекой. Яшка видел.

Наталья сначала вроде не поняла, о чем говорит Минька. Потом оживилась, посветлела припухшим лицом.

— И правда, сынок. Как это я сразу не подумала. Завтра же схожу к отцу. Возика три даст, нам хватит. Где ботвой какой разбавим, где чем, лишь бы продержать зиму Буренку. Соломы-то нынче давать не будут, увезут. Где-то, говорят, засуха совсем людей без сена оставила. А без коровы как же? Без нее в деревне и дом — не дом.

Миньке стало хорошо оттого, что хоть немного помог матери, отвлек ее от невеселых мыслей. И так эти дни она прямо сама не своя, все из рук валится, а тут еще...

— Пойдем-ка дровишек нарежем, — сказала Наталья, вставая.

У стаечной пеледы лежала старая матица, выброшенная Ганькой из-под пола сеней, березовые обрезки. Наталья, когда случалось бывать на гриве, всегда привозила по одному, по два комля. К осени порядочная горка накопилась. Каждый день понемногу пилили их, складывали поленницей — на зиму.

Тонкие сырые березы пилились легко, мягко. Только пила подзенькивала, выбрасывая струйками из надреза крупчатые опилки. Миньке не шибко хотелось пилить, но когда-никогда, а пилить надо. Не кому-нибудь, ему же, Миньке, и достанется.

Пришел дед Протас, принес скрученную восьмеркой веревку.

— Куда тебе ее? — спросил Наталью.

— Да брось тут, дядя Протас. Унесу потом. — Наталья поправила выбившиеся из-под платка волосы. — Что-то ты, дядя Протас, и не заходишь к нам последнее время.

— Да так... Дела все, то да се, — сказал Протас, пряча глаза.

— Все сено-то перевез?

— Все. Там сена того...

— А у меня-то вот... — Наталья не договорила, губы ее дрогнули.

Протас покачал головой: знаю, мол. Сел на чурбак, закурил.

— Не знаю, чо и придумать, — сказал он, прокашлявшись. — Зима-то целых семь месяцев, считай. Много надоть. А где взять? Под полой не натаскаешь.

Затянувшись несколько раз, Протас затоптал папиросу, поднялся.

— Иди-ка, Наталья, делай чего по дому, а мы с Мишкой допилим.

Дед взял пилу. Поднял ее, как ружье, прищурил один глаз, глядя вдоль ряда зубьев, будто прицелился.

— Разводишко есть вроде, а вот что тупа, то тупа. Слегу-то не возьмешь такой пилой — листвяк, не шутка. Неси-ка, Минька, подпилок.

Протас повжикал напильником, каждый зуб пилы на палец попробовал.

— Ну вот, совсем другой фасон.

Пилить стало вдвое легче. Да и видел Минька, что дед Протас, когда к себе тянет пилу, сильно нажимая на нее, а в Минькину сторону пускал почти без нагрузки. Это и по опилкам видно: деду под ноги их в три раза больше летит.

Раньше Минька норовил не попадаться Протасу на глаза, противным старикашкой считал. Даже из избы старался уйти, когда Протас заходил к ним. А в последние дни Минька ясно увидел, что хоть и ругал его дед за всякие проказы

и отлупить не раз грозился, а обиды не него никогда не бывало, как, например на Ганьку. Интересно...

Вышла Наталья, помогла сложить в голенницу валявшиеся вразброс чурбаки.

— Зайди, дядя Протас, чайком хоть угощу.

— Чайку можно, — охотно согласился Протас. — Старуха-то у меня того, прихварывает что-то. Больше сухомяткой живу, без приварку.

В сенях Протас при открытых дверях придирчиво осмотрел пол, мягким чесанком по каждой половице топнул. Ничего не сказал. Только потом, уже сидя за столом и держа в дрожащих пальцах блюдце, кивнул в сени.

— Худа работа. Так, никудышна.

— Клади, клади мед, дядя Протас, — запредлагала Наталья, будто не слыша его замечание.

— Ничо. Смородишный чай старикам пользительней без всего. А с медом — скус не тот. Минька вон пусть к меду прикладывается — в рост идет парень. — Протас положил руку на Минькино плечо. — В отца весь будет — что с лица, что статью. Давно письмо-то было?

— Давно уж. Заждались мы.

Протас быстро взглянул на Наталью.

— Ну-ну... Я и то старуху свою корю. Пошто, говорю, хворать-то наладилась? Рано помирать, Степана дождаться надоть. Он ить смалу возле нас, ровно сын родной... Ничо, мы ишо по сограм с ем побродим, дождусь.

Протас отвернулся к окну, заморгал. Проморгался, подлил в блюдце чаю, продолжал:

— Побродим. Истосковался он, поди, по своим полям. Шибко уж притяжливый Степша до них. Да что там говорить! Всем родникам и колодцам без него давно бы хана пришла. Напиться бы в поле негде было. А он чистил их каждую весну. И меня, старика, пристрастил к етому делу. Ключ на Узкой Гриве есть, знаешь его, Наталья? Звонкущий, а вода в ем будто сахаром слащена. Сроду я нигде не пивал такой. Идем мы ко ключу-то, а Степша шаг все вытягивает, и, вижу, забота у него на лице, быдто опоздай он на минуту какую и пересохнет родник. А за целых сто шагов остановится Степша, бывало, послушает и говорит мне: слышь, мол, дядя Протас, живой наш песельник, играет. И радуется, ровно ребенок. Да такого мужика... Эх!

Протас махнул рукой, склонился к столу, зашвыркал из блюдца. Допил чай, взялся за шапку.

— Ну, пойду. Спасибо за чаек. Ты, Наталья, про сено-то не пиши Степану. Пускай мужик за свой дом в спокое живет, нечего его заботить.

Протас ушел. Вслед за ним ушла на ферму Наталья. Минька посидел, посидел на крыльце, решил сходить к бабушке. Посмотрел на солнце: как раз должен к обеду угодить.

Бабушка и правда собирала на стол. Принесла сковородку с окутанной паром картошкой, нарезала хлеб, вышла в кладовку за молоком. Минька присел на лавку у порога, сглотнул слюну. Хоть и недавно совсем чай пил, но перед такой разваристой картошкой и хлебом разве не облизнешься?

Дремавший на припечке пушистый трехшерстный кот открыл один глаз, глянул на Миньку без интереса, закрыл снова и замурлыкал какую-то свою песню. Вошла бабушка, негромко ворча:

— Поближе бы ставила молоко, в сенях где-нибудь, дак от этого антихриста спасу нет.— Она укоризненно посмотрела на кота. Тот разожмурил теперь уже обе желтые щелки, увидел в бабушкиных руках кринку, перестал мурлыкать, насторожился. Смекнул, видно, о ком идет речь, но сидел пока, не чувствуя в бабушкином голосе угрозы.

— По весне повадился до ветру в огурцы ходить, всю гряду разгреб, пакостник,— продолжала бабушка.— Хотела тогда Костюхе отдать, чтоб унес в согру да бросил. Пожалела. А этта, гляжу, до молока добрался. У, вражина!

Кота как ветром сдуло с припечка.

Только Минька с бабушкой сели за стол, пришел дед. Повесил картуз на гвоздь и, словно Миньки не было в избе, ощетинился на бабушку:

— Ты что, всю деревню подрядилась кормить? Утром один гость у тебя, в обед другой.

— Побойся бога-то, — не испугалась всегда тихая бабушка.—Что он, мальчонка, объел тебя? И так у них...— Она всхлипнула, встала из-за стола.

Дед хмуро, молча ел, отчего его большие волосатые уши ходили верх-вниз. С хлюпом запивал молоком горячую картошку, хрубостел огурцом, шумно глотал. Наелся, отодвинул сковородку, собирая со стола хлебные крошки, сказал:

— Вот что... Говорил я сейчас с город-

скими, приезжали в контору. И порешил — продам корову.

— Что-о?

— Что, что... Что слышала!— огрызнулся дед. — Коровы-то нынче вон в какой цене ходят. Пятьдесят тысяч! Это тебе не шутка. Сено я продал уже, сторговался с шофером, что начальство привозил. Телушка зиму на пойле да на всякой ботве перебьется, это не дойна корова. А тем летом и ее на базар — опять пятьдесят тысяч в кармане, а то и больше. Соображать надо! Кончится война, подешевеет скотина, тогда и купим коровенку.

Бабушка обессиленно опустилась на лавку. Минька ожидал оханий и причитаний, но она заговорила строго, спокойно, видимо, о давно обдуманном и решенном.

— Уйду я от тебя, к Наташке пойду жить. Изверг ты стал, обличье человеческое совсем потерял. От людей стыдно. Житья никакого не стало. Погоди, ужо сыны-то придут...

— Счас, пришли, дожидайся...

Минька выскользнул в сени. Хотел уйти потихоньку, да вдруг озлясь, так хлопнул дверью, что она снова открылась за ним.

Наталья сама не своя ходила по двору, старалась не смотреть на Буренку, привязанную с утра в углу ограды. А та ревела протяжно, поворачивала голову к хозяйке, смотрела ей вслед, будто бы недоумевала, зачем это вздумали ее морить, не пустили в стадо.

Не встречать больше Наталье с пастбища свою Буренку, радостно узнавая ее средь стада по белым «чулкам», по широкой пежине на лбу. Не разговаривать больше с ней, не отмывать теплой водой тяжелое вымя, не слушать пенья молочных струй, ударяющихся в дно подойника.

Задумчиво-отрешенная, грела Наталья воду на плите, готовила посуду для мяса и внутренностей. Костюха точил на крупнозернистом осколке бруска ржавый нож и, стараясь отвлечь Наталью от невеселых дум, басил:

— Колхоз:-то «Память Пушкина», знаешь, поди?

— Как не знать, — машинально отвечала Наталья.

— Довелось мне как-то проходить с охоты мимо ихнего загону. Да... А они, память-пушкинцы-то, скот колоть собрались на мясопоставку казне. Бычищи в загоне ходят, что горы. Рога по аршину, чтоб не соврать. Страх господний. Такому быку трактор перевернуть — и не мыкнуть. Крутятся мужики, а в загон ни ногой. Что делать? Тогда я и говорю: дозвольте, мужички, прогуляться по вашему загону. А они: чо тебе, паря, жить надоело? Да... Вытащил я из-за голяшки вот этот ножичек, перелез через прясло и давай крушить бычков в лен. Один замах — и копыта кверху. Эдак с полсотенки уложил за какой-нибудь час. Ну, говорят, мы еще такого бойца сроду не видывали...

В избу вошла бабушка Анисья. Наталья отошла от печки, горестно взглянула на нее.

— Вот дядя Костя колоть пришел, — будто оправдываясь сказала Наталья и опустила голову.

— Да вижу, — вздохнула бабушка.

— Ты-то как посоветуешь, мама. Позвать-то я дядю Костю позвала, а сама никак решиться не могу... Может, лучше живьем продать? Молодая еще, да такая умница, послушница. — Наталья всхлипнула.

Бабушка Анисья посмотрела на Костюху с ножом в руке, на притихшего Миньку, сказала:

— Пропади они пропадом, деньги, доченька. Колите, раз уж так доспелось. Хоть мясо поедите. А то сама чертоломишь на этой ферме, Миньке вон учиться надо. Голодному-то и наука — не в ум. Да и самый рост у парня. А телушку сберегай. Не увидишь, как коровой станет. Колите, чего уж теперь...

Бабушка посидела немного, ушла.

Костюха отложил брусок, снял шинель и засучил рукава рубахи.

— Пойдем. Где у тя, Наталья, вожжи-то?

Минька ожидал, что Костюха живо и легко заколет Буренку — вон с какими быками справлялся запросто. Но Буренка не давалась, ревела, мотала головой, несколько раз сбивала Костюху с ног. Только с помощью пришедшего Протаса кое-как спутали корову вожжами, свалили, и Костюха дрожащими руками неумело перерезал ей горло, не ножом, а старой литовкой. Быстро подставив кружку, Костя набрал полную крови и, задрав голову, шумно выпил.

— Кровь, она жилу укрепляет, силу придает, — пояснил он, крякнул и передал кружку Протасу. Протас пить кровь не стал, Минька попробовал и тут же

выплюнул липкую, теплую и солоноватую жижицу.

Корова лежала на боку, судорожно поджимала ноги, а один раз так взлягнула, что Костя отскочил резво, свалив под плетень стоявшего позади него Протаса. Пока Протас, ругаясь, поднимался, Костя взялся за рога и круто завернул назад голову коровы, широко развалив надрез на горле. Кровь забила толчками, стекая.

Минька посмотрел в открытые Буренкины глаза и отвернулся. Неловко сделалось. Вспомнилась галка, убитая ими на пасеке.

Протас собрался уходить, но тут Костя начал рассказывать, как он один отбивался от большой стаи волков. Протас присел на березовый чурбак, стал слушать, ковыряя в носу желтым прокуренным пальцем. Время от времени он с беспокойством поглядывал на калитку, а когда она визгливо скрипнула, поспешно убрался за разваленную на траве коровью тушу. В ограде раздался густой, окрепший в частых скандалах голос Протасихи:

— Вот ты где, дряхлый пенек! Я куда тебя послала? Это так ты за редькой к Катьке Подтыновой ходишь?

Дед Протас, видя, что в руках у бабки ничего нет, сробел не шибко. Откашлявшись, выкрикнул тонким голосом:

— Пропади она пропадом, твоя редька! Умирать буду, а к Катьке за редькой не пойду!

— Это как же так? — взъерепенилась старуха, встретив неожиданное сопротивление.

— А вот так!— крикнул дед и запнулся. Причины не пойти к Катьке никакой не было. Он заюлил глазами, соображая, и бухнул первое, что пришло на ум:

— Катьке вчерась ворота вымазали дегтем, ясно?

— А тебе, лешак старый, кака забота?

— Дак ведь... — начал Протас и умолк, не зная, как выкрутиться. Он жалко запоглядывал то на Наталью, то на Костю, склоненного над коровой.

Костюха разогнулся, с серьезным видом поддержал приятеля:

— Уймись, Авдотья. Пойди сейчас к Катьке такой крепкий мужик, как я или Протас, что люди подумают? Вот он, скажут, хахаль-то. Это возьми в толк.

Довод подействовал на бабку. Она быстро остыла и сказала уже спокойно, косясь на Протаса:

— Пришел, дак помагай, а неча в носу-то ковырять. Расселся...

Наталья впервые за целый день улыбкулась.

7

Яшка перемахнул через ограду, хотя калитка была рядом, подбежал к Миньке, сидевшему под черемухой с книжкой в руках, радостно запрыгал вокруг него, нелепо вскидывая ноги, размахивая руками, как дикарь из книги «Робинзон Крузо».

— Ур-ра, Минька, живем!

Он бухнулся на колени, перекувыркнулся через голову и сел перед Минькой, раскинув ноги, сияя глазами:

— Ты чо, рехнулся? — спросил Минька, удивленно глядя на него.

— Папка домой едет! Из госпиталя. В ногу раненный был. Вылечить вылечили, а все равно признали, что на фронт не годный. Пишет, недели через две дома буду. Тогда мы с пасеки в деревню переедем, это уж точно. Ур-ра!

Яшка снова перекувыркнулся через голову, ткнувшись плешастой головой в куриный помет.

Вытирая Яшкину голову пучком травы, Минька смеялся. Стало как-то весело, хорошо, будто не Яшкин, а его отец едет домой.

— А раньше он не писал, что ранили?

— Не, не писал про это. Не хотел, грит, беспокоить. Адрес у него в конце зимы переменился — тогда, видно, и попал в госпиталь. А нам-то почем знать.

— С костылями, наверно, приедет.

— Не знаю, не пишет. Может, и без костылей.

— Ну да, без костылей... Ганька Карпухин вон уже два года с тростью ходит, не направляется.

— Ну и что? Лишь бы приехал... Мамка читает письмо, смеется, а у самой слезы текут. Сторожку белить принялась. Рубашку мне новую сшила, а попросил надеть — не дала. Наденешь, говорит, когда отца поедем на раъезд встречать. Ты поедешь с нами?

— Конечно, поеду,— заверил Минька.

— Папка фонарик привезет немецкий и сумку кожаную. Буду с ней в школу ходить.

При упоминании о коже, Минька поднялся. Уходя утром на работу, мать наказала ему, чтоб он отвез сегодня кожу к магазину. Там заготовитель из района будет принимать кожу и овечью шерсть. Но кожа с Буренки большая,

тяжелая, одному неловко с ней возиться, поэтому Минька попросил Яшку:

— Яш, поможешь?

Яшка согласился сразу, будто только за этим и пришел. И вообще сегодня он готов был идти куда угодно.

Кожа была высушена на тыну и скручена Костюхой в большую мохнатую трубу. Ребята взгромоздили ее на тележку, привязали, повезли по пыльной улице.

Возле магазина гудела пчелиным роем разноцветная толпа женщин. Обсуждали деревенские новости, покрикивая на снующих ребятишек. На крыльце магазина сидел дед Протас, сложив руки на загогулине поставленной между колен березовой палки. Несмотря на теплый день, одет был по-зимнему — в шубе и высоких рыжих чесанках. Сдавать ему было нечего, просто так сидел, смотрел на народ.

Минька с Яшкой скатили кожу с тележки и, поставив на попа, помаленьку двигали ее к весам.

Возле весов живо хлопотал заготовитель в зеленом френче, в хромовых, начищенных до сияния сапогах. Быстро взвешивал брошенные на весы узлы с шерстью, кожи, выписывал квитанции, придерживал на колене портфель негнущейся левой рукой. При этом блистал золотым зубом, сыпал непонятными городскими словами. После каждого наклона к весам поправлял, одергивал френч, чтоб казаться стройнее.

Приняв от Катьки Подтыновой клочковатую, с невытребленными репьями овечью шерсть, заготовитель выдрал из маленького блокнотика листок, черкнул что-то и вместе с квитанцией вложил в Катькину пухлую ладонь. Та, прочитав тут же, зарумянилась, чуть заметно кивнула заготовителю и с гордым видом пошла в магазин, провожаемая внимательными взглядами женщин, тихими голосами:

— Весело живет...

— А чо ей? Не семеро по лавкам.

— Нет, бабы. Любая к мужику лепится, мужиком держится. Есть мужик, пускай самый завалящий, и семья есть, все в аккурате. А нет мужика — все корове под хвост...

Ко всем, подходившим к весам, заготовитель приглядывался, словно пытался угадать, что перед ним за человек и как с ним обойтись. У двух-трех бойких молодаек принял шерсть у кого первым, у кого вторым сортом. Подслеповатой старушке, стоявшей впереди Миньки ответил отрывисто:

— Третий сорт. Следующий!

«Мамка говорила да и дядя Костя тоже, что у нас кожа — первый сорт», — подумал Минька, наваливая кожу на весы.

Бабка не отходила. Стояла молча, задумчиво. Потом насмелилась, протянула квитанцию заготовителю.

— Нет, как тебя, ты уж перепиши фитанцию-то. Пошто же третий сорт. Летняя стрижка с ярки.

— Бабушка, шерсть оценена исключительно по достоинству,— отрезал заготовитель и, будто приводя в порядок ворох, распинал шерсть так, что не поймешь, где бабкина, где чья.

Бабка, опешив от мудреных слов, отошла.

Бегло оглядев кожу с Буренки, заготовитель столкнул ее с весов носком сапога.

Чей будешь?

— Кашемиров, — Минька напрягся и даже как-то подался вперед, ожидая, как заготовитель оценит кожу.

— Кашемиров? Так вот, кожа-то того... На третий сорт даже не тянет. Низшего сорта сырье у тебя парень.

— Как низшего? — голос у Миньки дрогнул.

— А так.— Заготовитель развел руками, покачал головой.

— Плохо обработана, абсолютно не квалифицированно, оставлены жировые отложения.. Брак. Так и скажешь матери.

Со всех соторон послышались голоса все накаляясь возмущением:

— Обманывать, однако, зачал, бабы.

— Тут за третий сорт квитанцию выпишет, а в районе за первый сдаст или за второй.

— Вот-вот. А денежки в карман.

— Тут тянешься из последнего, а он...

— Мужиков нету, а баб они шибко боятся..

Заготовитель будто не слышал, спокойно выписывал квитанцию. Тогда стоявшая за Минькиной спиной Груня Долгова не вытерпела, с побелевшими, трясущимися губами встала перед заготовителем, отстранив Миньку.

— Ты что же это? Думаешь, мальчонка, так и околпачить можно? На сиротских слезах брюхо ростишь! Гнать тебя надо отсюда, как собаку от церкви!

Заготовитель побагровел лицом и стриженым затылком.

— Гражданка, прошу полегче! Вот она, кожа, перед вами, смотрите. Можете кричать сколько угодно, качество сырья от этого не повысится. Что вы мне тут концерт устраиваете? Будете отвечать по законам военного времени за саботаж, за срыв мероприятия по сдаче поставок государству. Как ваша фамилия?

Он щелкнул замком желтого портфеля, достал тетрадь.

Дед Протас, видя, что дело принимает неприятный для Груни оборот, пришел на выручку. Растолкал баб, протиснулся к весам, ткнул палкой в портфель.

— Ты, слыш-ко, не шеперься на бабу, будь мужиком,—обратился он к заготовителю в настороженной тишине. — Ежели что не так — растолкуй попросту, по-человеческому. А то «срыв милоприятельства... собакаж...» Попробуй тут разберись сразу. Баба и есть баба. Она, может, не так на тебя, как на всю свою горьку долю в обиде. Вот и кричит. Слова-то всякие, они и у меня легко с языка спархивают, как те воробьи с току. Особо ежели в сердцах. Дак что же теперь...

То ли подействовали на заготовителя слова деда, то ли смекнул сам, что чересчур перегнул палку, оценивая кожу, но писать бумагу на Груню он не стал, вынутую из портфеля тетрадь убрал обратно. И кожу у Миньки принял все-таки третьим сортом. И то ладно!

Минька сунул квитанцию, вылез из толпы. Женщины молчали, напуганные докладной. Решили, наверно, не связываться больше, а то греха не оберешься. Только бабка, обиженная заготовителем, жаловалась Протасу, отошедшему от весов ко крыльцу магазина:

— Это чо же деется-то? Сроду такого не бывало, я ить не впервой сдаю. Ты бы, Протас, как мужик, поговорил с френчем, пристрашшал.

— А ну его, — отмахнулся Протас.— Человек бы был, а то... Хренч, он и есть хренч.

Минька не стал больше задерживаться возле магазина, потолкал перед собой к дому пустую тележку. Рядом зашаркал пимами дед Протас. Молчали. Минька еще не остыл после пережитого и теперь, задним числом, мальчишеское воображение рисовало ему совсем другую картину спора с заготовителем. Вот он, Минька, вступает в спор с ним, доказывает, что заготовитель жулик, обманщик. Виновато, даже испуганно, тот извиняется, припертый к стенке, юлит и в конце концов начинает принимать как надо. Женщины смотрят на Миньку удивленно — «смотри-ка, какой сын у Степана вырос»— хвалят, благодарят...

Дед Протас, словно угадав, о чем думает Минька, засмеялся:

— Чо, паря, примолк? Как нагнал холоду заготовителишка, так и язык под хвост?

— Ничего он не нагнал. Надо бы его гирькой шмякнуть раз, знал бы тогда, —ответил Минька на дедов смех и, чтоб выглядеть перед дедом взрослее, добавил слышанное не раз от своей бабушки:

— И что за народ пошел!

Дед нахохлился, крепче застукал палкой в дорогу. Потом заговорил вдруг сердито, все повышая голос до крика:

— Ты чо это, паря, а? Я те палкой-то эвот таку гирьку покажу — свет белый с овчинку покажется! Фулюганство мне выкинь из головы! Еще раз услышу — отцу напишу. Ишь ты, ерой! — Протас откашлялся. — И на весь народ не махайся, если не толкуешь ни черта! У народа вон рубаха с плеч ползет, робит с темна дотемна. И власть, и народ нонче в одну точку глядят: как бы немца скорей усоборовать, с войной покончить. Не до этих щелкоперов покуда. Дойдет еще до них очередь...

Минька почувствовал, что краснеет. Ему стало неловко оттого, что невпопад ответил Протасу, к которому он все сильнее привязывался последнее время, слушался.

Дед некоторое время шаркал пимами молча, потом заговорил снова, но уже другим тоном — миролюбивым и настоятельным, как всегда:

— Ты Михайла, не маленький теперь, приглядывайся к людям-то. Оно сразу видно, кто какой. Прикидывай, смекай, что к чему. Не понял — спроси, за это никто не ударит. Вот и увидишь, что нельзя всех огулом хаять. Таких, как этот, много еще, что и говорить. А корень тут — в жадности. От нее, проклятой, все зло по земле идет. Воруют, обманывают, друг дружку со свету сживают. Нахапается вот такой, облоснится жиром, хромовье на себя напялит и, кроме как на свое рыло, ни на кого смотреть не желат. От такого добра не жди. Этот не пойдет, как твой отец, родники по гривам чистить. Выгоды не видит. А душа не попросит, не позовет, нет. Душу-то у таких жадность изъела, как ржа старый гвоздь...

Разговорившись, Протас чуть было не прошел мимо своей избы. Открывая калитку, повернулся к Миньке.

— Прибегай-ка попозже, леску волосяную доплетем. А то давно обещался, да все руки не доходят. Письмишко отцово прихвати, почитаешь. Как он там...

— Ладно,— ответил Минька и тут только спохватился, что Яшка-то не пришел с ним, остался возле магазина.

Минька засиделся у Протаса. Уже большое потухающее солнце ушло за угол низкого окна, и только слабый отсвет его краснел на беленом косяке. В печке весело пощелкивали дрова, было тепло и уютно. Танька резала картошку тонкими ломтиками, поджаривала их на плите и. посолив, ела.

Бабке Протасихе недужилось. Последнее время она часто прихварывала, а сегодня и совсем слегла. Еще утром, выйдя до ветру, Минька слышал, как Костюха, выгоняя стадо, издалека начал «заводить» бабку. «Протасиха!»— кричал и добавлял такие слова, что хоть уши затыкай. Но подойдя ближе и видя, что корову выпускает из ворот сам дед Протас, спросил:

— Где сама-то?

— Хворает, — печально сказал Протас, — Горло перехлестнуло, сдышит чижало. Припарки из редьки делала — не помогает. Что доспелось — ума не приложу...

Теперь лежала бабка на кровати у у окна, шумно дышала. Худое лицо ее еще больше осунулось, нос заострился, губы обескровели. Миньке непривычно видеть ее такой спокойной.

Дед Протас сучил леску из конского волоса негнущимися дрожащими пальцами и все говорил, говорил, поглядывая на Таньку, которая собиралась завтра уезжать домой.

— Ты, Танюшка, приезжай опеть тем летом, живы будем дак. А то в городе-то пыль одна, духота, дома друг к дружке лепятся. А тут у нас приволье —речка, лес, поля кругом. Куды ни глянь— далеко видно, просторно душе.

Танька стошла от печки, начала готовиться к завтрашнему отъезду. Будто сборов много, на три пестеря. Не терпится, видать. Все женщины такие и девчонки тоже. Минькина мать на базар за целую неделю собираться начинает. Хлопочет, суетится — то бы не забыть, другое. А потом все равно забудет что-нибудь

Минька смотрел, как Танька увязывала в узелок свои выцветшие ленты, платья. В корзинку, сплетенную дедом Протасом, насыпала сушеной клубники, сверху положила несколько морковин— гостинцы своим сестренкам да братишкам. Все это накрыла платком. Поверх платка легли желто-красной цепочкой бусы из боярки, нанизанной на базарную нитку. Яшкин подарок.

Кончив нехитрые сборы, Танька села к бабушке на кровать, внимательно-грустно слушала деда.

— У нас и огородишко какой ни есть, — продолжал Протас.— Морковка, горох. Опять же пучки разные в сограх, сарана, ягоды. Одна не успеет отойти, как другая себя показывать начинает. Уйдешь в согру, не знаешь, на что глаз положить. Цветов однех... Тут тебе и огонек, и марьины коренья, и ромашка с незабудкой. А над тобой жаворонки и другие птахи песнями исходят. Краса, да и только! Сколь годов вот уже топчу землю, а все вроде и не жил на свете. Вот ведь какая штука-то...

Дед Протас долго, задумчиво смотрел в окно на старый, наголо осыпавшийся клен. Потом вынул из спичечного коробка, крючок, привязал к готовой леске замысловатым узлом.

— Ну, теперь вся рыба твоя, Минька. Лови на здоровье да вспоминай меня, старика.

Минька смотал леску на коробок, сунул в карман. В кармане захрустела бумага, и он только тут вспомнил про отцово письмо.

— Ну-ка, ну-ка, — заинтересовался Протас.

Минька развернул треугольник, стал читать медленно и громко, чтоб бабка хорошо слышала.

«...А еще сообщаю, что теперь я — командир взвода дивизионной разведки. Был легко ранен, протосковал две недели в полевом госпитале и вернулся в часть. Недавно наградили меня вторым орденом «Красная Звезда». Наташа, пока не пиши мне. Жди от меня письмо примерно через месяц. До свиданья. Поклон всем родным, а также соседям нашим дяде Протасу и тетке Авдотье...»

— Ишь, не забывает нас, —проговорила бабка, когда Минька кончил читать. — Большим человеком стал, командиром, орденов однех сколько, а не забыват.

— Не забыва-ат! Что же он забудет-то? Нашинский, поди, не какой-то там

круть-верть,—резко сказал Протас, недовольный, видать, тем, что бабка могла плохо подумать о Степане.

— Дак они ить, знаешь, теперешни-то... Чуть взнялся в начальники, а уж смотрит на тебя и не видит...— Бабка, охнув, повернулась на бок.—А что ж он Наташке писать-то не велит?

— Значит, бои начнутся, либо в разведку уйдут. Мы, бывало, с той германской так же писали. Ай не помнишь?

— Да где мне, не вчерась—было-то...

Отворилась дверь, и в избу, низко пригибаясь, вошел Костюха, пригнавший стадо. Гулко поздоровался, огляделся. Опоясан бичом, как всегда, полы шинели подоткнуты. На нижней губе белела прилепленная берестина.

Протас, подвигая ему табуретку, пригляделся, спросил:

— На каку холеру бересту-то прилепил?

— Это от солнца, паря. Чтоб губы не трескались,—пояснил Костя и, вынув из кармана шинели пучок какой-то травы, положил на припечек.

— Делай отвар, Авдотья. Он от стесненья в грудях поможет, дыханье ослобонит. Сам только этой травкой и спасаюсь.

Бабка смотрела на пастуха, словно не узнавала.

— Да ты садись, не маячь каланчой-то,— сказал Протас. — Я вон сегодня табачку свежего подрубил.

— Нет, пойду. Пристал за день, ноги не держат.

— Ну, сохрани тя господь, Костя, — проговорила бабка одышливо.— Ты обиду-то на меня, дуру старую, не держи уж... За ругань мою, за слова за всяки...

— Кака тут обида, — пробасил Костя уже от порога.— Я ить понимаю — просто так балабонишь, без сердца. Отвар, говорю, делай живо, не затягивай хворобу.

8

— Ну, с богом. Ты, Танюшка, смотри, приезжай тем летом. А дома поклон всем сказывай,— сказал дед Протас, закрывая калитку. Он долго еще стоял, навалясь на плетень, смотрел вслед удалявшимся ребятам. Яшка нес Танькин узелок, Минька—корзинку.

Дорога к разъезду веселая, знакомая ребятам. Сразу за деревней по левую руку голубеет непроходимое коноплянище вперемешку с полынью. Не паханое, не сеяное — само поднялось на брошенном поле. Кто из деревенских ребятишек не бегал сюда! Надергают конопли, завернут сноп в дерюжку и ну танцевать на ней, а то и палкой дубасить. Потом отвеют на ветру мякину и похрустывают конопляными семечками, забрасывая их в рот горстками. Сытно, вкусно.

По правую руку — Цыганское болото. Оно и не болото вовсе, а так, согорка небольшая. Когда-то, давно, любили цыгане останавливаться у этой согры, на виду у всей деревни. Разбивали палатки, жгли костры, плясали. Много чего могут порассказать о них в деревне, если коснется разговор. Сколько лет уже не наезжают цыгане, а название живет, приросло к болотцу.

За конопляницем дорога вздымается в гору и берет вправо. Если оглянуться, то можно увидеть всю деревню до единого домика, кладбище, а дальше — ровные желтые поля с редкими околками, уходящие незнамо в какую даль.

На разъезд ребята пришли рано. До прихода Танькиного поезда оставался еще целый час. Они купили Таньке билет, сели у вокзального палисадника на скамейку, стали смотреть на линию.

По среднему из трех путей разъезда неторопливо шагал путевой обходчик, внимательно оглядывал рельсы. Возле стыков он останавливался и стучал маленьким молоточком на длинной ручке по концам рельсов. Ребята знали: если молоточек отскакивает, то рельс хороший, а если как бы прилипает, то значит, есть где-то в рельсе трещина и его надо заменять новым.

Танька смотрела на обходчика, а спросила о другом:

— А вы будете мне письма писать?

— Я буду, — сказал Яшка, который за последние дни сдружился с Танькой. Из Протасовой ограды не выходил, пока Минька с Карпухой пол перестилали, Даже бусы вон сделал из боярки и подарил.

Прибыл пассажирский поезд, заскрипел, задребезжал тормозами, остановился, дымя тормозными колодками. Пассажиры с мешками, корзинами, бидонами кинулись вдоль состава искать свободные места. Таньке ехать было всего три перегона, можно и в тамбуре простоять. Ребята помогли ей сесть в вагон, стоящий как раз против вокзала, и побежали смотреть паровоз.

Паровоз был покрашен зеленой краской, а высоченные колеса — красной,

На солнце блестели огромные шатуны в масляных потеках. Яшка, раскрыв рот, смотрел на сипящую, пофыркивающую паром махину, будто видел впервые.

— Вот это да-а...

— Что, интересно? Не видел никогда? — спросил выглядывающий из окна паровоза машинист.

— Видел. А все равно интересно.

— Полезайте-ка сюда, в кабину, — машинист кивнул на трап.

— Ага, а если поедете, — недоверчиво сказал Яшка.

— Пока не поедем. Встречного ждать будем. Ну!

Не раздумывая больше, ребята быстро поднялись по трапу в кабину, и у них захватило дух. Множество трубок, колесиков, крапиков, каких-то приборов, похожих на часы, разместилось на широкой стенке паровозного котла сияло, слепило глаза медным блеском, таким же, как от бабушкиного самовара. Уж на что движок на мельнице интересная машина, но куда ему...

Машинист раскрыл топку, из которой выпыхнул чадный длиннопламенный огонь. Здорово!

Потом они еще раз обошли паровоз кругом. Молодой помощник машиниста, совсем почти мальчишка, ощупывал рукой какие-то части и объяснял ребятам, что проверяет, не нагрелись ли подшипники. Кое-куда мазут подливал из масленки с тонким длинным носком.

Все это было необычно, ново, далеко от того, чем жили ребята в деревне.

— Вырасту, обязательно буду машинистом, — заявил Минька, когда они отошли от паровоза.

— И я, — сказал Яшка и стал считать вагоны проходящего по соседнему пути товарного поезда.

Пришел кондуктор, подал машинисту жезл на блестящей проволочной петле, свистнул в булькающий свисток, и поезд плавно тронулся, все набирая скорость.

Танька высунулась из открытого окна, заулыбалась, хотя по лицу ее было видно, что ей совсем не весело. Яшка постоял, постоял и приурезал по междупутью рядом с Танькиным вагоном. Штанина рассучилась от бега, рубашка вздулась на спине пузырем, но он не обращал на это внимания.

— Хорошо учи-ись, Яшка-а! — кричала Танька сквозь слезы и долго-долго махала худенькой смуглой рукой...

Всю обратную дорогу от разъезда шли молча. Разговаривать не хотелось, то ли из-за расставания с Танькой, к которой привыкли за лето, то ли оттого, что немного проголодались и утомились. Даже не стали ловить перепеленка, прыгавшего по обочине дороги. Видно, не научился еще летать.

— От гнезда, наверно, отбился, — сказал Яшка.

— Не, они в гнездах не сидят. Как из яйца вылупятся, так и разбегаются от матери.

Яшка поверил. Он всегда считал, что раз Минька постарше годом, то и знает куда больше.

В ложбине, недалеко от конопляница, Яшка остановился, разглядывая поломанный мосток.

— Прыгай, чего ты, — обернулся перескочивший на другую сторону Минька.

— Да я-то перепрыгну, а как мы тут проедем папку встречать?

— Вон за теми кустами, кажись, переезжают, а не здесь, — Минька кивнул на густой рогулистый тальник ниже мостка. Туда вел еле заметный тележный след.

Яшка сбегал, посмотрел. Вернулся довольный.

— Есть дорога! Да еще какая!

Когда подошли к деревне. Минька предложил:

— Пойдем завтра к омуту, порыбачим?

— Не, — сказал Яшка. — Мамка завтра поедет куда-то, на пасеке некому. На днях коровы два улья перевернули.

Миньке не хотелось оставаться одному, он стал уговаривать Яшку пойти к ним. Мясным супом соблазнял, старую свою удочку посулил. Но Яшка отказался и, пообещав прибежать завтра к вечеру, свернул проулком к пасеке.

Тихо у омута. Мягко поплескивает свинцовая вода, лениво полощет свесившуюся с берегов, измочаленную осоку. Туман, стоявший с ночи над омутом, сплыл вверх по Крутой, против течения воды, в черемушную, богатую тенью и прохладой засеку. И стоять ему там даже в такой вот ведреный день почти до самого обеда.

Камыши еще держали след туманной влаги — поблескивали росой, чуть слышно шелестели, покачиваясь.

Когда Минька подходил к омуту, с него шумно и неожиданно поднялась стая уток. Они пролетели над самой Минькиной головой, вытянув шеи, свистя рез-

выми крыльями, роняя с мокрого пера крупные капли. Гуртуются сейчас утки, наедают зобы для дальнего перелета.

Минька размотал удочку, поставил поплавок на нужную глубину и, забросив крючок под нависшую над водой корягу, воткнул удилище в берег. Вода уже сильно охолодала против летних дней, Минька хорошего клева не ждал, просто не терпелось поскорей испытать новую удочку с волосяной леской.

Солнце едва пробивалось сквозь утреннюю дымку и отражалось в омуте, но не сверкающим до рези в глазах бликом, как днем, а мутным, расплывчатым пятном. Словно это желтел блин на большой дымящейся сковороде.

Пескарь уже не играл, не всплескивал, раскатывая по воде круги, как весной, на черемуховом цвету, когда у всякой рыбы после зимней голодовки начинается жор. Омут будто вымер, баюкая камыши и осоку на дальних отмелях, где высоченные у бывшей запруды берега-яруги сходили на нет, чуть-чуть возвышаясь над водой. К берегам прибивало желтые листья, траву, серо-белые перья, утерянные старыми утками.

На противоположном берегу зашевелились кусты, раздвигаясь, Минька насторожился, запоглядывал туда. Черный теленок высунул морду из тальника, долго, не мигая, смотрел на Миньку и запятился снова в тальниковую чащу, побрел по ней, отряхивая росу, треща валежником.

Тихо у омута. Налетела откуда-то тройка скорых чирков, сбавила лет, но, заметив Миньку, просвистела к пасеке, на дальнее плесо.

Поймав два небольших ельчика, Минька решил не сидеть больше зря, смотал удочку, по камням перешел речку ниже омута и поднялся на другой берег.

Над пасечной засекой вовсю еще белел туман, а в лесу на взлобке было свежо и сухо.

Минька заметил на пеньке бурундука-свистуна, погнался за ним. Бурундук подпускал совсем близко, навострив ушки и поглядывая вроде бы в сторону, внимательно следил за Минькой. Как только Минька намахивался удилищем, бурундук убегал юрко, приподняв пушистый хвостик столбиком, будто заигрывал. Вот хитрюга! Миньку захватил азарт, и он погнался за полосатым свистуном все дальше и дальше в лес. Однако и эта затея прошла впустую: бурундук исчез в зарослях.

Молодой березняк был густо разбавлен боярышником и осинником. Минька поколесил по хрусткой траве, высматривая грибы округ пней, хотел пройти еще дальше в березняк, но вспомнил, что недалеко есть большая барсучья нора, побоялся.

Он подошел к старой коряжистой калине. На самой вершине ее алели ягоды, такие сочные и спелые на вид, что Минька не удержался, прислонил удилище к березке, влез на калину и уселся на суку, оцепив ногами тонкий ствол. Калина хлипкая, но ничего, держит, хоть и гнется. Притягивая, ломал Минька ягодные ветки, пучками сбрасывал на землю.

Калина не была такой спелой и крупной, как казалась снизу. Дать бы ей покрасоваться до глубокой осени, чтоб холодные дожди и первые инеи-предзимки выгнали из нее вяжущую рот горечь. Да ладно, доспеет дома, над окнами избы с солнечной стороны. Зимой из нее такие пироги будут! А кисель!..

Наломав калины, Минька огляделся. Оказалось, что с калины хорошо деревня видна и омут тоже. Солнце поднялось высоко, набрало силу и теперь ровно и мягко освещало омут: темной каемкой лежала на воде тень от высокого яра.

Минька хотел было спускаться на землю, но глянув на Крутую выше омута, крепче уцепился за ветки калины. По тропинке, петляющей от пасеки по-над берегом, ехал верхом Ганька Карпухин. Рослый вороной конь шел ходко, норовил перейти на рысь, но объездчик придерживал его, натягивая повод. В левой руке Карпуха держал что-то тяжелое и такое, видать, неудобное, что его кособочило в седле. Потому и коня сдерживал.

Подъезжая к Сысоеву омуту, Карпуха оглянулся и, подняв, поставил на луку седла большой белый бидон. «Неужто мед спер?» — подумал Минька. На миг вспомнились почему-то Протасовы слова за чаем: «С медом — скус не тот». А мать говорила — на картошку выменяла.

Минька решил сходить к Яшке на пасеку. Он ведь один сегодня дома. Минька завозился на калине, высматривая место, куда бы ловчей спрыгнуть с нее, не угодить на какой-нибудь пенек, но, глянув в сторону омута, увидел Яшку. Он выбежал из кустов на тропу. Несся, видно, наперерез.

Крепче оцепив ствол калины, Минька

продолжал наблюдать, забыв обо всем на свете.

Яшка догнал Карпуху на высоком яру, над омутом. Не сбавляя бега, обогнал его и вцепившись обеими руками в поводья, остановил коня, что-то крича. Карпуха, свесившись с седла, тоже крикнул что-то и стал дергать поводья. Конь бешено закрутил оскаленной мордой, мотая худенького Яшку, как былинку. Яшка повод не отпустил. Тогда объездчик, привстав на стременах, вдруг поднял коня на дыбы. Яшка оторвался от узды и упал на тропу.

Минька вздрогнул. Еще миг — и конь опустит свои страшные кованые копыта на Яшкину голову. Сейчас... Но когда копыта уже почти коснулись Яшкиной головы, он вьюном выскользнул из-под них, отпрыгнул, да не рассчитал, видно, сгоряча и, перевернувшись в воздухе, полетел в омут. Ганька ударил лошадь под бока и поскакал к лесу.

Все произошло так быстро, что Минька не успел опомниться. А придя в себя, кубарем свалился с калины, ломая сучья, больно обдирая руки. Забыв про ягоду и удилище, пустился через заросли к омуту. Ветки хлестали по лицу, царапали шею, но он все бежал и бежал. «Сейчас, Яшка, я сейчас, сейчас, сейчас...» — задыхался он. Слезы застилали глаза, он не заметил распластанной по земле валежины, запнулся и упал, ударившись о пенек. Наконец продрался сквозь частую сетку тальника, выбежал к воде и похолодел: в том месте, где Яшка упал с яра, торчала из воды черная свая от бывшей мельницы, заляпанная с торца желтоватой кашицей.

Только сейчас сообразив до конца, что произошло, Минька дико закричал и напрямки, спотыкаясь и падая, побежал домой.

...На третий день жар стал спадать, к Миньке воротилось сознание. Он открыл глаза и тут же зажмурил снова — солнце больно резануло по ним. Потом, привыкнув к свету, он медленным взглядом обвел потолок, стены, никак не мог понять, где он и что с ним. Наконец дошло: да он же дома, лежит в кровати. Слабой, будто ватной рукой, нащупал влажное полотенце, которым была обмотана его голова. Тошнило.

Он вспомнил, как прибежал от омута, испугав мать своим видом, как рассказал ей о том, что случилось на речке. Дальше ничего не мог вспомнить. Даже то, увиденное им у омута, отодвинулось далеко-далеко и теперь казалось давним, полузабытым сном. А может, это и был сон?

Вошла в избу мать. Радостно бросилась к Миньке, присела на краешек кровати.

— Сынок, Мишенька, тебе лучше? Господи, наконец-то! Что я пережила с тобой за эти два дня, кто бы знал! — Она вытерла уголком платка набежавшие слезы, получше укрыла Миньку одеялом. Губы ее были сухие и шелушились, глаза впали, четко обозначились под ними темные полукружья. Печаль так прочно укрепилась на молочно-матовом ее лице, что улыбка от пришедшей радости не могла прогнать ее.

— От испуга это у тебя, сынок. Попей-ка вот молочка, у деда Протаса заняла. Пей, пей. Еще маленько. Ну вот, теперь на поправку пойдет. Жару-то нету уже, а то прямо горел весь...

От выпитого молока Минька почувствовал себя лучше, тошнота прошла. Он сел на кровати, долго не решался спросить у матери, потом не удержался.

— Мам, а Яшку нашли?

— Схоронили его, сынок. Нет больше дружка твоего. Дядя Костюха его в тот же день нашел случайно. Коров он пас рядом, ну и подошел к омуту. А Яшу как раз к берегу прибило, ручонка из воды показалась. А на другой день... — Наталья заплакала, — ...отец приехал.

— А... а Карпуха где?

— Ты лежи, лежи, укрывайся теплей. Тебе еще нельзя вставать, — заговорила Наталья быстро, не отвечая прямо на Минькин вопрос. — С Карпухиным лучше не связываться, сынок. У него, поди, дружков тьма. Городские всякие... Избу еще сожгут, а то и убить могут. Места-то глухие, поздно приходится одной ходить. Ты смотри, сынок, помалкивай, а то беды не оберешься. Ну их, к ляду. И без тебя разгадают как и что... Поспи, поспи давай. Хороший сон, он лучше всякого лекарства.

Минька лег на бок, подтянул колени к подбородку.

...Утром Минька пробудился поздно. Матери, как всегда в это время, дома не было, ушла на ферму. Голова не болела, но была какая-то тяжелая, будто каменная. Побаливало правое плечо. Отчего плечо-то? А, ударился обо что-то, кажется, о пенек, когда бежал от калины к омуту.

Он умылся холодной водой, покопался в сковородке с яичницей, выпил молоко. Подошел к окну, долго смотрел на пустынную улицу, на поблескивающую излучину Крутой. За этой самой излучиной, не так далеко, омут, а еще чуть дальше — пасека. Совсем вроде рядом, если напрямик. Но он, Минька, больше не пойдет на омут. Страшно. Да и мать не пустит. Стой-ка... Мать, оказывается, никому ничего не сказала о Карпухе. Известно, боится она. Неужели его, бандита, так и не арестуют? А вот если бы знали отец или дед Протас, они бы как, тоже скрыли? Нет уж, они бы не испугались. Отец смелый, ордена и медали за храбрость имеет. Да в разведку, поди, и не берут кого попало. Когда он приедет домой, то обязательно спросит, как умер Яшка. И Минька, конечно, расскажет отцу все, что видел.

Минька ясно представил себе отца в военной форме с золотыми погонами, с орденами и медалями на груди. Вот он, Минька, подробно рассказывает отцу о Яшке, а отец слушает внимательно, чуть склонив голову, как умел он слушать всех, будь перед ним взрослый человек или мальчишка. Слушает он, слушает Миньку, не перебивая, а под конец лицо его делается сердитее и сердитее, и он говорит чужим голосом: «Трус ты, больше никто. Не знал я, что у меня такой сын растет. Яшка вон не побоялся, один на один сцепился с Карпухиным в лесу, а ты все видел и промолчал. Струсил. И не подходи ко мне, знать тебя не хочу».

Минька аж вспотел от таких мыслей. Покосился на портрет отца: мать достала его из шкафчика, снова поставила на стол.

Боясь, как бы мать не пришла домой раньше времени, Минька начал торопливо, как мог, собираться, сам еще отчетливо не сознавая — куда. Туже запахнулся в фуфайку, вышел на крыльцо.

День выдался хмурый и холодный. А может, так показалось Миньке: давно не был на улице, отвык. Вышел за ворота, пугнул увязавшегося за ним Орлика и, увидав в ограде деда Протаса, направился к нему.

Протас молча выслушал Миньку, окаменел лицом. Брови так напустил на глаза, что глаз и не видно стало.

— Так-так... Ну, дела, елова рогатина... То-то меня сразу сумленье заскребло. Не мог, думаю, он сам с яру сверзиться, больно уж ловок был, парнишонка-то...

Дед снова застыл истуканом. Видно, ошарашило такое известие. Только когда Минька повернулся уходить, встрепенулся.

— Погоди-ка, ты это куда навострился?

— Домой пойду, — сказал Минька.

— Не домой, паря, не домой. Ступайка в контору. Там следователь другой день опрос ведет, не видел ли кто. Расскажи все, что видел, без утайки. Понял аль нет?

Миньке от одного упоминания о следователе не по себе сделалось. Бабушка Анисья часто рассказывала, как один мужик лошадь издолбил киркой. Вез воду из-под горы, с речки. Бочка большая была, лошадь не могла вывезти, вот он спьяну и давай охаживать ее. Бабушка тоже к проруби шла за водой, видела все и в свидетели попала. Теперь охает: «Не приведи бог по этим судам ходить. Страху-то, страху натерпелась. Легче умереть, чем перед судом стоять, хоть и этим, как его... свидетелем».

— Дедушка Протас, боюсь я, — сказал Минька жалобно. — Я же тебе рассказал...

— Э-эх, дурачок! Ты что же, этого супостата поперешного выгораживать удумал? Мне он рассказал! Ну-ка марш счас же в контору, говорю! Сам ступай, сам чтоб. А нет — палкой эвот так нашиваю, побежишь рысью!

Отойдя от Протаса несколько шагов, Минька оглянулся.

— Ступай, ступай. Я тоже счас приду, — сказал Протас уже спокойно, подбадривающе.

В конторе было много народу, и на вошедшего Миньку никто не обратил внимания. Хоть и людно было, но тихо. Только у самой двери женщины чуть слышно шушукались. Задние приподнимались на носки, вытягивали шеи, стараясь рассмотреть, что происходит в переднем углу, у стола.

Бледный, с пересохшими губами, Минька прислонился к косяку, стал слушать. Ноги устали и ныли, будто прошел он десять километров, а не каких-то там восемь дворов. Мать уже, наверно, вернулась с фермы, хватилась его, пойдет искать по деревне. А может, все же уйти домой? «Нет, постою. Сейчас дед придет», — решил Минька и в просвет между людьми увидал следователя за столом. Это был строгий и усталый на вид мужчина. В тот момент, когда Минька его увидел, он запустил белую крупную

руку в седеющие со лба волосы и попросил подошедшую к столу бабку Протасиху рассказать, не видала ли она, чтобы кто-нибудь ехал или шел со стороны пасеки в тот день, когда случилось несчастье.

Бабка туже затянула под подбородком узел платка и зачастила глуховатым после болезни голосом:

— Чо тут, милый, рассказывать-то. Тут и рассказывать долго нечего. Двух слов хватит. Дома я в тот день сидела. Я ить последнее время никуда не отлучаюсь от дому, прихварываю, даже в лавке не помню когда была. Карасинишка есть, соль еще лонись сам со станции привез с вощиками, что зерно на ливатор возют. Я-то сама на станции еще в девках, помню, была. К ярмарке ездила. Теперь уж и сказать не могу, какая она, станция-то и есть. Случись быть там, заблужусь, поди, одна-то. А если говорить о городе, то я его и в глаза не видывала. Домищи там, сказывают, казна настроила-таки, что дых захлестывает. Дым, чад. Как только там людишки перемогаются, ума не приложу. Опять же ехать туда по железной дороге надоть. Денежки отдашь ни за милу душу, да еще страху натерпишься... А чо в ем, в городе? Ну, было бы заделье какое или родня, а то у меня есть одна сестра, и та через дорогу живет. Фросей зовут. Она, Фрося, младшая у нас из всех, за Петром будет, а Петька, тот уж за мной...

Следователь, подняв ладонь, остановил бабку, мягко поправил:

— Значит, вы дома сидели, а дальше?

— Дома, дома милый. Сижу днями и гляжу в окошко, как бы суседские ребятенки на белену не натакались. Белена-то весь угол в ограде забила. Прет и прет, окаянная, спасу нет. Сколько уж говорю старику: повыкопай ты ее, чтоб и кореньев не осталось.Дак ведь ему говоришь, быдто рядом кладешь, слова-то. Не доходит никак без скандалу. А белена, это такая отрава — не приведи господь! У нас еще в ту войну Катька-суразка наелась эдак же вот белены, дак у ей и посейчас глаза в разны стороны глядят. Да ты знаешь ее, поди, Катьку-то. Кто ее не знает...

Следователь понял, видно, что ничего путного бабка сама сказать не может, снова остановил ее, спросил прямо:

— Значит, вы не видели никого?

— Нет, милый, не видывала, врать не стану. Кабы мимо ограды кто шел, дак еще туда-сюда, а издаля где мне, глаза уж не те...

— Ну ладно, бабушка. Спасибо. Я вас больше не задерживаю, — сказал следователь.

— Сохрани тя бог, — обрадовалась бабка. — Я ить невинна-непричинна. Да у нас во всей родне сроду не было таких, чтоб кого задярживали да арестовывали.

Женщины расступились, пропуская бабку. И тут Минька, набравшись духу, по образовавшемуся проходу подошел к столу.

— Дяденька, я... я все видел, на речке был... возле речки... Заболел, — слабым голосом сказал он.

Следователь, чуть приметно улыбавшийся глазами во время разговора с бабкой, построжал сразу, почувствовав по болезненному, но решительному виду Миньки, что заявление — серьезно. Он приподнялся со стула и обратился к женщинам:

— Гражданки, прошу остаться двумтрем. Остальные, пожалуйста, выйдите.

9

По заберегам вихлястой Крутой березняк мелкий, редкий. Будто выбежали тонкие деревца-несмышленыши из согры, кинулись врассыпную к речке, да остановились вдруг на огорье, побоялись дальше бежать. Так и стоят на виду — кривые, неприглядные. Такие для жердей не годны, а для избяного венца или матицы — и подавно. Редко кто срубит на дрова, не пожелав идти далеко в лес. Стареют в одиночку, горбятся, — все ветровые да буранные забавы на них приходятся.

А в сограх, там березы прямостойнее, охватистее. Хочешь не хочешь, а залюбуешься их лебединой важностью, полноспелой статью. Уже и листва сжелтела и наполовину убавилась, а от них так и веет свежестью, как в пору вешнего сокогона.

Тихо в согре, застойно. Только ветербуревик баламутит ее, да и то редко, набегом. Обрушится, переплетет, перепутает ветви берез, сорвет охапку-две листьев — и был таков. И снова сонно покачиваются березы, слабо помахивают ветками, чуть слышно шушукаясь. И в этом покачивании стволов, в вялом шевелении веток, в тайном шепоте — светлая молодая печаль, безмужняя бабья истомленность...

Нет-нет да мелькнет средь березовой

белоты рябина, ярко полыхнет праздничным зорним отсветом. И снова, куда ни глянь — березы, березы, березы...

Покровский березняк издавна грибами-белянками славится. Начнут покрывать землю первые осенние туманы, и попрут грибы из земли, поднимая веселыми вогнутыми шляпками жухлую листву да травяную прель. Стоит найти один гриб, а там уж смотри зорче: рядом где-то должен быть целый выводок. Белянки либо тесным семейным кружком сидят, либо цепочкой рассыпаются, как детишки по лавкам. Вырви невзначай один гриб из этой цепочки, и все остальные зачахнут на корню. Если же их ножом срезать — а режутся они легко, с прихрустом — то можно приходить на это место снова через два — три дня. Столько же новых грибов нарежешь. Забыв обо всем на свете, не замечая сам, будешь кланяться березам, отжившим, полегшим травам, уже обессоченной, но еще теплой и доброй земле...

Минька уже несколько грибниц вырезал. Корзинка отяжелела, но эта тяжесть — не в тяжесть. Сначала он нетерпеливо бегал по березняку, но скоро понял, что лучше не бегать зайцем, а ходить медленно и пристальнее вглядываться. Бабушка, та все вроде на месте топчется. Минька думал, что и не нашла ничего. А когда подошел да глянул — у бабушки Анисьи почти целая корзинка. Вот так да!

Миньке уже надоело грибы искать. Устал. Не ноги устали, а глаза. Поднимешь их — бело от берез, опустишь — пестро от скрученных палых листьев. А ходят они давно. Из дому вышли перед обедом, после рососпада, а теперь вон солнце круто к закату пошло.

Он бегло скользил глазами по земле, не замечая грибов, а бабушка все склонялась и склонялась. Миньку так и тянуло к ней, будто в других местах грибов уже нету.

— Пристал? — спросила бабушка.

— Пить хочу, — Минька облизал сухие губы.

— Счас домой пойдем. Хватит, находились, отвели душу. На днях как-нибудь еще сходим.

Минька кивнул и медленно побрел за бабушкой, глядя по сторонам. На пути боярка попалась. Ягоды на ней выспели, усыхать начали. Он сорвал несколько ягод, какие низко висели, съел вместе с косточками. Сладкая! Потянулся было к ветке повыше, да уколол руку об острую крепкую иглу. «У, карга старая, жадоба», — про себя обругал он боярку и пустился догонять бабушку.

Думал, от боярки не так будет сушить во рту, но пить захотелось еще сильнее. Скорей бы Крутая, что ли.

На выходе из согры сели отдохнуть на прогале. Бабушка молча выбирала из корзины травинки, соскабливала с грибных шляпок прилипшие листочки. Лицо ее было светлое, ласковое. Грибы в руках осторожно держала, чтоб не сломать.

— Вот засолим их с укропчиком да с малиновым листом. Зимой-то от них за уши не оторвешь. Ах, красавицы мои! Беляночки белолицые...

Минька смотрел, как любовно бабушка перебирала грибы, и думал, что сегодня обязательно напишет отцу письмо. Скажет, что бабушка Анисья теперь живет у них, а навсегда пришла или только попугать деда, он не знает. Надо и про сено написать, и про Буренку, и про Яшку. Помянуть, что бабка Протасиха хворала, а теперь направилась, что это дядя Костя-богатырь ее вылечил какой-то травой, но они, как и раньше, все равно ругаются каждое утро. Много разных новостей накопилось, не забыть бы чего...

— О-хо-хо, — проголосно вздохнула бабушка, поднимаясь. — Устально-то как, ноженьки идти не хотят.

Впереди блеснула в низине вода. Минька обрадовался, веселей зашагал, обогнав бабушку. Обрадовался, да рано. Вода тонюсенькой струйкой высачивалась из земли и тут же растекалась по сухому осочнику, пропадала. От перепрелой листвы да низинного мшаника была она будто ржавая, мутная.

— Терпи уж до дому.

Минька попробовал распинать траву, сделать ямку. Но ямка получалась неглубокой, и, когда Минька потянул воду через дудку, в рот полезли травяные обминки, земляные крошки. Он выплюнул невкусную воду. Видя, что бабушка не торопится, склонилась над корзинкой, он взял валявшуюся рядом большую щепину и начал углублять ямку. Выдергал по бокам родника осоку, выгреб ильник на сторону. Вода в яме весело, бугристо закипела. Минька сделал сток и, стоя с дудкой в руке, наблюдал, как сносило через руслице травяной мусор и донную муть, как выбивалась на свет толчками и заполняла ямку чистая, живая вода.

ВАЛЕНТИН МАХАЛОВ

Опять меня уносят поезда.
Дымлю в окно дешевой сигаретой,
И зябкая Полярная звезда
В мои ладони просится погреться.
Звезде в кромешной синей вышине,
В раю непостижимом и далеком,
Наверно, этой ночью, как и мне,
Тревожно и немного одиноко.
И потому преследует она
Меня всю ночь, во мне увидев
друга,
В квадрате просветленного
окна
Взметнулись в небо трепетные
руки.
— Вдвоем с тобой мне не страшна
беда, —
Шепчу звезде, уставшей от
погони,
И чувствую, как зябкая звезда
Скатилась в мои теплые ладони.

Постучись в мое сердце,
тревога,
По горячим зыбучим следам
Повели мне идти на подмогу
К тем, кого обложила беда,
В дом, пожаром объятый
врываться,
Окна сильным плечом выставлять.
Пусть людское великое братство
Мне на деле покажет земля.
А потом, намотавшись по свету,
Вспоминая нелегкие дни,
Я задумаюсь горько об этом,
Не спеша карандаш очинив.

Беда не ходит в одиночку
На все серьезные дела.
Она пришла сегодня ночью
Ко мне. И руку подала.

И стала наскоро знакомить
Она со мной сестер своих.
Успел я накрепко запомнить
Все имена и званья их.

Она представила Обиду.
Ее лицо, как ночь, темно.
Я промолчал. Не подал виду,
Что с ней знакомы мы давно.

Мне горько улыбнулась зависть.
Не раз вечернею порой
На путь известности и славы
Она звала меня с собой.

Мне блага вечные сулила,
И, не достигнув ничего,
Она все реже заходила
В обитель сердца моего.

О сестры ночи, злые феи!
Как ваши тяжелы слова.
Я так боюсь, что не сумею
Знакомства с вами разорвать.

Во мне живет одна надежда,
Одна спасительная нить,
Что вы ко мне как можно реже
По делу будете ходить.

ВИКТОР ЧУГУНОВ

На речном спокое

РАССКАЗ

Было начало осени. Ветер гнал над рекой паутину. Солнце за тонкими облаками грело скупо, но земля еще не остыла и жила мокрым августовским теплом. Кружились бабочки и пчелы. То и дело проносились ураганы птиц. Березовые шпалеры по берегам стояли крепко, зелено, обдавая неширокое русло стойким сладковатым запахом грибов.

Я плыл с верховья в большой старой лодке. Река сливала воду шумно, стремительно, и лодка поскрипывала, юля меж валунов. Рядом плыли комья пены, то снежно-белые, то розоватые, точно остатки летних зоревых облаков. На подхватывал слив, и комья бились камни, стреляя холодными и колючими каплями. И столь дик и неуживчив представлялся мне этот край, что становилось жутко.

Но порой все преображалось. Необжитые берега расступались тесными полянами, где по второму разу цвели жарки. Раскаленно-оранжевые цветочные завои были сплошь забиты птицей, и такое окрест разносилось пение, что я ложился на нос лодки лицом к солнцу и слушал. В прощальных перепевах птиц было что-то русское, как в песнях здешних плотогонов в середине лета.

К исходу дня меня вынесло на широкий спокой. По берегам началась дремная пихтовая тайга. Солнце еще светило ее темно-зеленую стену, и тайга отражалась в воде ясно и чисто, зеленя прибрежную воду. Далеко на стрежне черной глыбой стоял экскаватор. Я удивился и направил к нему лодку.

Подплывая, заметил человека. Он зашел по грудь в воду и, ковыряя дно толстым ломом, точно пытался что-то подцепить.

Вода была ледяная.

— Отдашь душу-то, — крикнул я.

Человек поднял лицо и выругался.

— Мать-перемать... Ушел и как в воду канул...

— Утонул? — не понял я.

— Глухой, что ли? — отозвался парень.

— Чего в воду залез? — я подплыл ближе.

— Машину перегоняем — валуны тут...

Передо мной был парень лет двадцати шести, кудрявый, с темно-пунцовыми щеками, крупным ртом и хрящеватым носом. Мокрая, в масляных пятнах гимнастерка прилипла к телу. Руки держали лом легко и твердо. Глаза зло щурились.

Я причалил к берегу и развел огонь. В лодке была рыба. Заварив уху, я лег у огня и стал смотреть на реку. Что-то невыразимо покойное было в ее тяжелом ленивом стоке, будто она загустела, сбитая на камнях в верховье. И уж ничто не возмущало ее, даже эта мрачная груда экскаватора, с устало опущенной стрелой.

Скоро запахло вкусным рыбным наваром. Парень громко и грязно выругался, бросил лом и направился ко мне.

— Ты, как баба голая, дразнишься, — сказал он хмуро и стал раздеваться. Обнажилась широкая, крепкая, в наколках

грудь. Парень обтер ее мокрой гимнастеркой, разулся и повесил на кусты белье.

— У меня спирт есть, — сказал я.

Парень уставился в землю.

— Давай! — Он потоптался, сглотил полстакана спирта и поводил плечами. — Теплый. Надо его в воду поставить.

К вечеру резче посинело небо. Птицы утихли, спрятавшись на ночлег. Только весело в густой тишине потрескивал костер.

— Продрог малость, — продолжал парень, опустив лицо. — Надо же: на той стороне валунов нет, а на этой черт ногу сломит. Видать, ране добрая буча была...

— Что же вас сюда понесло? — спросил я.

— Хохол скомандовал экскаватор перегнать...

— Что за хохол?

— Механик, в рот бы ему галушек Четвертые сутки загораю...

— Что так?

— Что? Высиживаю вот, караулю...

— Тут, по-моему, и красть некому...

— По-твоему. — Парень помолчал. — А, по-моему, вон за той хребтиной разрез. Оставь машину без присмотру — что соберешь?

Я улыбнулся, а парень посмотрел на меня с превосходством.

— У меня пять лет назад за ночь стрелу уперли от ЭКГ. Вот так же вечером оставил, утром прихожу, а стрелы нет...

Я бросил в костер веток и спросил:

— К какому клану принадлежишь: рыбак или охотник?

— Не веришь?

Я махнул рукой и помешал уху.

— Тогда по-честному: остался воду испробовать...

— А где остальные?

— Кабеля не хватило. Хохол за кабелем поехал...

Я снова лег у костра. Парень растер покрасневшую грудь и хмыкнул.

— Нормально.

— Отогреваешься?

— А то нет? Со спирту знаешь как русская кровь бегает. Хоть снова в воду.

— Сейчас ни к чему — ночь...

— Хохлу один бес — что день, что ночь. Должен вот-вот подскочить — до утра впрягемся...

Я спросил прямо:

— Чудак ты, парень... Злой будто бы, а что домой не уйдешь? Наверно, семья есть?

— Все есть, что надо. — Парень повернулся к огню спиной. — Весной обженился. Нынче квартиру дали, с жильем значит, и даже с тещей... А не ухожу — потому, что ссориться с хохлом не хочу. Он, подлюка, вредный, как гад...

— Ты сам-то откуда?

— А черт его знает. Мать померла, отец в дупель запился и бросил. Помню, старика слепого водил — милостыню собирал. Сейчас машинистом вкалываю.

— Чего ж тебе с механиком ругаться? Ты и сам вроде бы как механик.

— Я много по свету мыкался, но такого чучелу земля один раз в сто лет рожает...

— Чего он?

Парень поморщился и недолго сидел с закрытыми глазами.

— Тощий, во-первых, как глиста, живые мощи; во-вторых, длиннющий, даже согнулся. А в-третьих, как старая баба, во всякую дырку нос сует. Придет на экскаватор, очки напялит и давай шариться. Здесь не смазано, там грязно, здесь канат заменить, там еще что-нибудь. А я и без него знаю, что надо... Только он с оклада получает, а я сдельно. Мне работать выгодно, а не смазывать...

— Свой экскаватор перегоняешь?

— Свой-то бы еще ладно, а то, как говорят, Ваньки Пупкина. Опять же хохол... Уперся пуще барана: ты будешь перегонять — и хоть бей его. А я что? Красное солнце? Мне тоже заработать надо: у меня жена молодая, ее одеть, обуть и все такое. А тут на тарифе хоть язык гложи. Да и дело-то ломтя не стоит: наращивай кабель да гони. Вон он стоит на собственных колесиках.

— А в воду лазить?

— Подумаешь, страх какой! Люди на амбразуры падали...

Я посмотрел на его крепкое тело. На гладкой лощеной коже играли блики костра. Руки, сильные, тяжелые, висели, не касаясь локтями туловища. Серые волосы кольцами лежали на лбу. Когда парень поворачивался ко мне, из-под колец смотрели живые глаза, то хитро, то злобно щурясь.

Мы разлили уху и стали хлебать.

На другом берегу в сумерках показалась чья-то фигура. Она подошла к воде и протяжно крикнула:

— Гриша-а-а...

Парень поднял на меня глаза, молча отставил чашку и стал одеваться...

— Я после доем, — сказал он, натяги-

вая гимнастерку. — Тут такое дело — женщина пришла... Лодку дашь?

— Бери.

Парень торопливо обулся, прыгнул в лодку и отозвался:

— Плыву, Катя-я...

Они долго стояли на берегу, слившись в один расплывчатый силуэт. Потом сели и сидели до звезд. За реку пролетел филин и напугал их. Едва различимые, неловко прячась, они ушли от меня вверх по реке, а когда вернулись, над спокоем висела луна, и они не прятались, потому что прятаться было бессмысленно, а может, потому, что они просто забыли об этом: здешний мир казался неизмеримо великим и неизмеримо пустым.

Проводив жену, парень возвратился ко мне и сел у костра.

— Вот так наша жизнь, — сказал он и вдруг зло прищурился. — Хохол, мать бы его душу вытряс, ушел и пропал. Я ему, чучелу, говорил, что кабеля не хватит, а он уперся, осел полтавский...

Я протянул ему чашку с ухой.

— Домой Катька зовет, — виновато и неловко продолжил парень. — А как сейчас домой? Сейчас домой нельзя...

— Она у тебя блондинка или брюнетка?

Он отстранился, свел брови и стал рассматривать меня, точно я только подошел нежданно-негаданно. Мне понравился его открытый взгляд, мужественность в худощавом лице и больших плотных губах. Он ясно уловил фальшивинку в моем вопросе и думал, умышленно ли я ее бросил или сорвалось с языка.

— Серая она у меня, — наконец, ответил Григорий. — Посередке: если надо — брюнетка, если надо — блондинка. Я на это дело не смотрю: мне лишь бы спать...

— Вот как...

— А как? На дурной вопрос и шальной ответ. А если по-честному, положа руку на сердце, как говорят, девка славная. Врать не буду — Катька некоторым другим по всем статьям сто очков форы даст...

— Я так и подумал...

— Это потому что она ночью ко мне пришла. А что? Другая бы плевать хотела. А Катька пришла. — Григорий задумчиво похлебал уху и вдруг поскреб черенком ложки затылок. — А ведь правда — пришла. Черт те что... Я только сейчас подумал: взяла и пришла. Интересно.

— Вот оно как, — дивился он. — А девках и потрогать как следует не разрешала. Бывало, стоим в подъезде, он губу на губу и нос кверху. А сейчас пришла...

Он улыбнулся, глядя на огонь, пожал плечами и стал есть, останавливаясь и подолгу облизывая ложку.

На другом берегу прогромыхала подвода. Григорий вскинулся, отстазил чашку и сказал:

— Хохол прирулил.

Я осторожно следил за парнем. Он посуровел лицом, огрузнел. Весомо облокотившись на землю, Григорий смотрел в одну точку. На щеках вздрагивали желваки, а острый кадык пилил шею — вниз-вверх, вниз-вверх.

Из-за реки отчетливо слышались голоса. Мужики стягивали кабель к воде, галдели и поучали друг друга.

— Григорий,— наконец, позвали оттуда.

Еще не стихло эхо, а Григорий был на ногах. Он встал передо мной и спросил:

— Лодку дашь, кореш? Счаленный конец будем плавить...

Я поднялся и согласно коснулся его плеча.

— А ты куда? — спросил Григорий.

— Посмотреть, что делать будете, а случится — и помочь.

— Тут дел-то осталось — раз пчихнуть.

— В воду же снова?— Я посмотрел в его светящиеся глаза.

— Ну и что?

— Лед же чистый...

— Не так страшен черт, как его малюют...

Это было сказано так мило и просто, что я невольно толкнул его по-простецки и засмеялся.

Мы сели в лодку и поплыли. Вода чмокала о борт. Григорий опустил в нее руку и сидел молча. От лунного света блестела жестяная пуговица на воротнике гимнастерки.

— Это очень важно — переправить через реку экскаватор? — спросил я.

— Нет, не очень. Но если разбирать и доставлять машину в объезд — месяца два. А так — завтра будем на месте.

Лодка толкнулась в берег. Григорий выпрыгнул и мрачно оглядел кабельную бухту.

— Что? Поживее-то не могли?

От людей отделился высокий горбящийся парень, подошел к нему и стал протирать носовым платком очки.

— Да уж прямо и не знаю... Вроде бы торопились, а вот только поспели...

— Торопились вы, — пробурчал Григорий.

— Никогда вам не угодишь, Григорий Иванович.— Высокий парень надел очки и указательным пальцем прижал их к переносице.— И всегда вы недовольны. Что бы ни делали. А уж мы так торопились, честное слово...

— Ладно, кончай базарить...

... До утра мы раскатывали валуны, стоя по грудь в воде. Григорий коротко распоряжался, и не только я, но и длинный худой механик в очках, и все остальные с каким-то особым благодарным послушанием исполняли его команды.

Потом, когда мою лодку снова понесло течением, я лежал на ее носу и смотрел в небо, затянутое тонким тюлевым облаком. Над лодкой кружились бабочки и пчелы. Галдя проносились ураганы птиц. И мне хотелось, чтобы вот так меня и несло, и несло и несло от одного речного спокоя к другому.

ЕВГЕНИЙ БУРАВЛЕВ

* * *

Если первыми люди
тропу пробивают к богатствам
по суровой тайге,
по откосам хребтов
каменистых,
если верят в победу
и трудных путей не боятся —
я уверен, что это идут
коммунисты.
Если люди без страха
любую опасность встречают
и за мир на земле,
и за правду
стоят, словно горы, плечисты,
если, как за стеною,
спокойно за теми плечами —
я уверен, что это стоят
коммунисты.
Если встретишь людей
с неподкупною совестью чистой,
с правдой Ленина в сердце,
отрешенных в борьбе за нее —
это гордость народа,
это совесть народа,
это знамя его — коммунисты.
Наше общее знамя —
и твое,
и мое.

ЛЕОНИД СЕРБИН

Крик

Гусляр-скоморошник —
Холщова рубаха,
Зачем твои струны играют нестройно?
Не выпорхнет песенка синею птахой.
Стена крепостная, да женщина стонет
О, плачь, Ярославна. Погибла дружина,
И он не вернется,
Могуч,
Солнцелик.
А хрупкое тело, как в поле осина,
Дрожит.
А под солнцем рождается крик.
Летит он над полем, он ищет ответа
У ратников храбрых:
Ну где ты?
Ответь!
Приходит он к нам из десятого века,
В славянские краски и песни одет.
Ломается счастье,
Мрак светлое губит.
От крика, от боли нам трудно уйти.
Крик ищет ночами солдатские губы,
Он ищет ответа, не может найти.
Любить — отступленье,
Забыть — преступленье.
А женщине вечно кричать суждено.
За весны, за войны, за тайну рожденья,
За то, что мужчинам познать не дано.

●

Погасит тишина шаги в ночи,
И ты не скажешь больше «уходи».
Останутся лохматые дожди,
Скворечни на березах и грачи.
А на Томи в апреле — ледоход,
На правом берегу костры рыбачьи.
Твоя походка — женщина идет,
И мне рукой издалека маячит.
Я знаки принимаю, я бегу.
И вот она все ближе, ближе...
Открыл глаза. Один на берегу.
И нет костров, и женщины не вижу.

●

Мартены салютуют искрами,
Жарой сбивая наповал.
Я здесь упрямо и неистово
Свою Россию открывал.
Когда, горбатясь,
Словно грешник,
Кидал подборкой доломит,
Была Россия печью бешеной,
Где все бунтует и горит.
Где злые атомы на части
Мужицкой силой разрывало,
Сходились ненависть
И счастье
И трудно счастье побеждало.
Потом, когда дышалось легче
И плавка по режиму шла,
Была Россия утром вешним
И песней синею была.

Ожидание

Самоходки,
самокаты,
пыль...
На завалинках солдатки
Пели про ковыль.
Голуби ходили рядом...
Жди... Жди...
Бьют весь год под
Сталинградом стылые дожди
Мужики ложатся в мяту
умирать.
А солдатки, а солдатки
Будут ждать.
Перепутают закаты
И постели перемнут.
Ночь.
Со стен глядят солдаты,
Тоже ждут.

ГЕННАДИЙ ЕМЕЛЬЯНОВ

Далеко от войны

РАССКАЗ

В сорок втором году я был мальчишкой и хотел увидеть войну хоть в окошко. Когда смутными вечерами над тайгой порхали зарницы или добегали отблески неслышных гроз, я спрашивал у деда:

— Там — война?

— Нет, — отвечал он,—через всю Россию разве ее увидишь, мы ж в Сибири, на краю земли. До нас она не дотянется.

С парнишкой по прозвищу Нехристь— шустрым и вороватым татарчонком, я сговорился бежать на войну. Мы собирали в мешок сухари и картошку, Нехристь стащил еще у кого-то бутылку самогона, которую мы рассчитывали отдать шоферу, чтобы он тайно довез нас до станции. Не помню уж почему, но побег не состоялся, с татарчонком я раздружил и сухари помаленьку сгрыз сам.

Жили мы тогда тревожно, муторно и ждали только худа.

Несколько отогревал души женщинам дурковатый и беспричинно веселый секретарь сельсовета Моисей Саввич. Был он румян, лыс и припадал на правую ногу.

Стены комнатушки, которую занимал секретарь сельского совета, были увешаны плакатами, и они последовательно отображали путь крестьянства к светлому будущему; висела там еще физическая карта Союза, переклеенная на сгибах желтой марлей. На ней Моисей Саввич отмечал цветными карандашами линию фронта и переставлял флажки.

Каждый день в сельсовет привычно собирались стар и мал, и секретарь, спотыкаясь о горбатый пол, объяснял положение; он знал доподлинно, что наши отступают не так просто, под давлением превосходящих сил, но с выгодой, дальним прицелом, и все сулил котел.

— Вот здеся, допустим, или вот здеся, —Моисей Саввич вкусно смыкал уста и упирал палочку в то место на карте, где фронт дугой прогибался в нашу сторону или втыкался клином.— Все решит котел, граждане бабочки, петля все решит!

Но петли все не было да не было, и женщины вслух стали называть секретаря старым помелом. После уж, когда загремел Сталинград, Моисей Саввич воспрял: шибко напился, влез на трибуну у клуба и сказал оттуда, что в молодости совершил невозвратную ошибку: ему надо было сразу метить в генералы, кончать академию, а на крайность — хоть пехотную школу в Красноярске. Старик не закончил речь, заплакал и подался спать.

По субботам и воскресеньям на слякотной площади за конторой потребсоюза собирался колхозный базар. С дальних деревень привозили мясо, рыбу и деготь: райцентр торговал скобянкой и тряпьем. Пахло на площади семечками, сырой кожей и лошадиным пометом. Базары эти чем-то отдаленно напоминали праздники — от того, может быть, что люди хоть на короткое время раскрывались от непроходящей тяжести войны. Правда, теперь в базарные дни к нам вовсе не приезжали артисты — лилипуты, фокусники, силачи с клоуном, и зеленая будка, в которой они давали представления, обшарпалась и накрест была заколочена горбылями. Но зато в посел-

ке объявился матрос. Он возник из ниоткуда, из тревожного далека. У матроса не было обеих ног, и культи свои он привязывал сыромятными ремнями к низкой тележке на подшипниках вместо колес.

Матрос был широкогруд, русоволос и голубоглаз, по нему, поди, иссохла не одна девка, ну, а теперь кому он нужен — обрубок? Так рассуждали наши бабы.

Матрос тосковал, много пил в будни, а в базарные дни устраивал игру в четыре карты. Он кричал, багровея.

Бабка Алена
Прислала денег полмиллена
И велела все проиграть.
А ну, навались.

Он разгребал публику огромными руками и добавлял:

А кто просто зенки пучит,
Тот ни хрена не получит!

Из четырех карт, что лежали на газете вверх изнанкой, надо было угадать бубнового короля — он выигрывал, и тогда деньги доставались самому смышленому и быстроглазому. Сперва, для затравки, матрос отдавал кон-два, но после обязательно наказывал простаков, небрежно сгребал лохматые десятки в карман и тут же посылал кого-нибудь за водкой. Он конечно, мухлевал, но никто поймать его не мог, да и жалели калеку, терпели за песни: он хорошо пел про бойца, который умирал в госпитале и наказывал закадычному своему дружку: «...жене передай мой горячий привет, а сыну отдай бескозырку»; пел про мать, что писала солдату и «печально запечатала конверт». Старухи любили слушать его и одаривали кто чем мог.

Однажды, дело было по осени, матрос до нитки обчистил вдову с дальней зимовки. Она собиралась на базаре присмотреть коровенку и клюнула на глупый факт (по началу, как положено, ей везло), ну а затем отдала все, что имела при себе. Тетка эта, сухая, еще не старая, с темным иконным лицом, запричитала на весь околоток. Матрос, зло щурясь, полз от нее на карачках, она тащилась следом, путалась в больших сапогах и стонала:

— Отдай, лихоимец, отда-а-а-ай! — и качалась, запрскидывая маленькую свою голову, хватала его за тельняшку.

— Отдай, родимый, ты же ишшо народ омманешь, а я по крохам собирала, от детей кусок рвала, Христом-богом молю!

Он стряхивал ее руку со своего плеча и уползал прочь, дальше от людской и базарной сутолки. И он бы уполз, если бы на его беду не ввалились на базар пьяные кержаки. Они били матроса ногами под соски, и грудь его ухала, точно пустая. Он загораживал лицо локтями, держался долго, распаляя толпу, и упал в занавоженную жижу у коновязи, затих, только крупно вздрагивал, уже сырой и в беспамятстве.

Отняла его у кержаков та же вдова:

— Забьете, окаянные, зверюги лесные, будьте вы прокляты! — закричала она и ударила одного из мужиков сухой и каменно тяжелой ладонью.

Мужики, опамятовав, смущенно засморкались и разбрелись, глядя в землю.

Матроса свалили на чью-то телегу и повезли к реке. Вдова сидела в передке и держала его голову на весу.

У речки калека очнулся. Он не жаловался, не сердился и не стонал. Вдова же упала перед телегой на колени.

— Прости, человек! — сказала она.

Матрос дотронулся чугунной рукой до ее волос, вздохнул и тихо ответил:

— Ничего, горемычная, ничего...

...Тетка мыла матроса у самой воды из ведра, он водил плечами, тряс головой и кряхтел.

Солнце падало, река была в медной ряби. Смеркалось, и тело матроса издали было похоже на белый валун.

Рядом, понурясь, стояла лошадь, и губы ее были опутаны медной слюной.

НИКОЛАЙ ГУРСКИЙ

●

Здесь пахло лесом, рыбой
и грибами,
Моторный катер гнал
девятый вал.
И лесовозы с рыжими
горбами
Устраивали временный привал.
Девчата пели плавно и красиво.
А по Томи вертлявый, словно бес,
Трудолюбивый маленький
буксирчик
Тянул плотами в Кемерово лес.
Где перекат, как яростный
погромщик,
Ревел, стучал камнями
по плоту,
Там молчаливый старенький
паромщик
Подкармливал гречихою
плотву.
Я забывал все горести
и беды,
Когда я слушал это наяву,
Как лесовоз кричит кому-то:
«Е-еду-у-у-у»
И катерок в ответ ему:
«Плыву-у».

Тайдон

Таежный ветер тучи с неба стер,
Вокруг теней причудливые игры,
С сосновых лапок, брошенных в костер,
Огонь урчащий слизывает иглы.

Луна висит, как галочье гнездо,
Опять сова по-вдовьи простонала.
В ответ негромко проворчал Тайдон,
Сердясь на белокаменные скалы.

И долго-долго бормотал во сне,
Он видел сон (бывает, снится речкам),
Что он гулял раздольно по весне,
Как жеребец казацкий без уздечки.

Вот-вот рассвет поднимется.
Потом —
Сползут туманы медленные
В горы.
И я уйду...
До новых встреч, Тайдон!
Сегодня, понимаешь, надо в город.

ГЕНРИХ БЁЛЛЬ

СВИДАНИЕ В АЛЛЕЕ

Порой, когда наступали часы затишья, когда смолкало хриплое потрескивание пулеметов и прекращался омерзительный визг мин, когда над линией фронта витало то непередаваемое, что наши отцы, быть может, называли бы коротким перемирием — в те часы мы прерывали войну со вшами или чуткий сон, и лейтенант Геккер своими длинными пальцами копался в запоре того ящика с боеприпасами, что был заделан в стенку землянки и который мы называли нашим «баром». Когда лейтенант брался за ремешок и стержень пряжки выскальзывал из своего отверстия, глазам нашим открывалось все великолепие этого тайника. Слева стояли бутылки лейтенанта, справа — мои, посредине общий, самый изысканный набор, припасенный нами на те часы, когда наступала полная тишина...

Среди серебристо-белых бутылок с водкой стояли две бутылки высокосортного французского коньяка, самого восхитительного, какой нам когда-либо доводилось пить. Какими-то поистине таинственными путями, при тысячекратных способах подкупа, сквозь джунгли чудовищных коррупций — натуральный французский «хенесси» время от времени проникал на передовую в наши норы, где мы *боролись* со вшами, с грязью, с безнадежностью. Нашим юнцам, которых трясло от рюмки водки, тем мальчикам, что с вожделением истощенных детей мечтали о сладком, их долю в этом несравненном золотистом напитке мы старались возместить конфетами и шоколадом. И вряд ли еще где-нибудь заключалась сделка с таким неимоверно счастливым концом для обеих сторон.

— Иди сюда,—обычно говорил Геккер, завязывая свой не первой свежести галстук и с довольным видом поглаживая подбородок.

Я неторопливо выходил из мрачного заднего угла нашего логова, вялым движением руки смахивал солому с униформы и ограничивался единственной церемонией, на которую еще находил силы: причесывался и в оставленном Геккером после бритья остатке кофе в жестяной банке — долго, почти яростно отмывал руки. Геккер терпеливо ждал, пока я чистил ногти, затем из ящика с боеприпасами сооружал стол, ставил между нами и носовым платком вытирал оба наших стакана из грубого толстого стекла, которые мы оберегали так же рьяно, как наш табак. И когда Геккер потом из самых глубин кармана выуживал большую пачку сигарет, мой туалет приходил к концу.

Это бывало после обеда. Мы отодвигали плащ-палатку у входа в блиндаж, и скупое солнце изредка согревало нам ноги... Мы взглядывали друг на друга, чокались, пили и курили. В нашем молчании было что-то величаво-торжественное. Единственным вражеским вторжением был глухой взрыв снаряда: он со снайперской точностью, через известные промежутки, ударял в одну и ту же точку перед балкой, подпиравшей эскарп у входа в наш бункер. С коротким, почти вкрадчивым «фляп», снаряд вонзался в сухую землю. Это напоминало мне подчас робкий, почти бесшумный шорох полевой мыши, в тихий полдень перебегающей дорогу. В этом шорохе было что-то успокоительное, он поддерживал уверенность в том, что чудесный, долгожданный нами час не был сном, чем-то нереальным, а частью нашей подлинной жизни.

После четвертого или пятого стакана мы, наконец, заговорили. Под слабый перестук усталого сердца чудный напиток будил в нас что-то необычайно дорогое, что отцы наши, быть может, назвали бы страстной тоской по жизни...

О нашем настоящем — о войне не было обронено ни слова. Слишком часто и слишком близко зияла перед нами ее ощеренная пасть. И когда темными ночами между двумя линиями фронта на

двух разных языках стенали раненые, от страшного дыхания ее слишком часто содрогалось сердце. Мы слишком ненавидели ее и не могли верить в мыльные пузыри тех фраз, что пускала всякая сволочь в тылу и на фронте, чтобы придать войне ореол некой «миссии».

И будущее не могло быть темой наших разговоров. Оно было черным тунелем, полным острых углов, о которые мы могли ушибиться, и мы боялись его, потому что сам странный факт — быть солдатом, вынужденным желать поражения, а не победы, — опустошали наши души.

Мы говорили о прошлом, о жалком намеке на то, что наши отцы, быть может, назвали бы жизнью. О том коротком, единственном отрезке, что сохранила наша память: воспоминания о времени, зажатом между догнивающим трупом республики и тем раздутым чудищем — государством, — за чье довольствие мы расплачивались теперь такой дорогой ценою.

— Вообрази себе маленькое кафе, — сказал Геккер, — допустим, даже под тенью лип. Осень. Запах сырости и гнили стоит в воздухе, и ты переводишь какие-нибудь стихи Верлена. На тебе легкая обувь, а позже, когда густой дымкой опускаются сумерки, ты плетешься домой, шаркая, да, именно шаркая ногами, понял?.. Ты скользишь по влажной палой листве и заглядываешь в лица девушек, идущих тебе навстречу. — Он налил себе стакан, спокойно, без дрожи в руке, как ласковый врач, оперирующий ребенка, чокнулся со мной, и мы выпили... — Может быть, иная улыбнется тебе, и ты улыбнешься ей в ответ, и оба вы пойдете дальше, не обернувшись. Эта мимолетная улыбка, которой вы обменялись, не умрет никогда, никогда, говорю я тебе... Она, быть может, станет вашим опознавательным знаком, когда вы снова увидитесь в другой жизни... смешная мимолетная улыбка...

Что-то удивительно юношеское мелькнуло в его глазах; с улыбкой взглянул он на меня, и я улыбнулся тоже, схватил бутылку и налил снова. Затем мы раз за разом осушили три или четыре стакана, и никакой табак не мог сравниться с тем, что смешался с волшебным ароматом коньяка.

Между тем минометный обстрел напомнил нам, что время безжалостно истекает. Вслед за часом радости и наслаждения нам снова угрожала неумолимая действительность, которая внезапным залпом орудия, сигналом тревоги постового, приказом наступать или отступать могла нас разорвать на части. Все лихорадочней глушили мы стаканы, все безудержней развязывались языки, и мягкий свет радости в наших глазах уже сменялся вспышками гнева и страсти. Когда показалось дно бутылки, лицо Геккера явно погрустнело. Глаза его, словно заплаканные окна, обратились ко мне, и я услышал полубезумный шепот:

— Та девушка, знаешь, жила в конце аллеи, и когда я последний раз был в отпуске...

Для меня это был знак остановить его,

— Лейтенант, — сказал я сухо и резко, — замолчи, слышишь?

Так сам он мне велел. «Когда я заговорю о девушке, что жила в конце аллеи, ты должен мне сказать: «Придержи язык! Понял? Ты должен, должен!!!»

Я подчинялся его приказу, как ни трудно мне было его выполнять. Потому что Геккер мгновенно сникал, как только я призывал его к порядку, взгляд его становился суровым и трезвым, а вокруг рта залегала прежняя складка горечи.

Однако в этот день, о котором я хочу рассказать, все было не так, как обычно. Нам выдали белье, совсем новое белье, новый коньяк, я побрился и в довершение всего даже вымыл ноги в жестяной банке, да, я вроде бы принял ванну, потому что нам прислали даже новые носки, на которых еще белели круглые ярлычки...

Геккер лежал, откинувшись на спинку койки, курил и наблюдал, как я мылся. Снаружи было совсем тихо, но эта тишина настораживала и давила, то была зловещая тишина, и я видел это по рукам Геккера, когда он прикуривал новую сигарету о выкуренную, видел что он был взволнован и боялся, потому что боялись мы все, в ком еще оставалось хоть что-то человеческое.

Вдруг мы услышали глухое «ш-ш-ш», одиночный снаряд снова попал в эскарп. Этот чуть слышный выстрел вмиг разогнал все устрашающее, что таила недавняя тишина, и оба мы разом расхохотались. Геккер подпрыгнул, затопал ногами и громко по-детски закричал:

— Ура, ура, а теперь будет пьянка, мировая пьянка! Выпьем же за здоровье дружка, что палит в одну точку, и все невпопад!

Он открыл наш «бар». хлопнул меня

по плечу и стал терпеливо дожидаться, пока я натяну сапоги и примусь за выпивку. Геккер разостлал на ящике новый носовой платок и из нагрудного кармана тужурки извлек две длинные великолепные коричневые сигары.

— Какая роскошь! — воскликнул он, смеясь, — коньяк и тонкая сигара.

Мы чокались, пили и курили, наслаждаясь долгими глубокими затяжками.

— Расскажи мне что-нибудь, —сказал Геккер, — должен же ты хоть раз что-нибудь рассказать. Ну, давай!— Он с серьезным видом посмотрел мне в лицо.— Нет, ведь ни разу ничего не рассказал. Все даешь волю моему языку.

— Плохой из меня рассказчик,—пробормотал я и поднял на него глаза; мы выпили, и было чудесно вливать в себя золотистую прохладную влагу, так изумительно нас согревавшую.

— Знаешь, —начал я робко, —я моложе тебя и все же старше. Я всегда был второгодником в школе, поэтому меня отдали в учение к столяру. Поначалу было очень горько, а потом, так примерно год спустя, работа столяра пришлась мне по душе, доставляла мне радость. А знаешь, это здорово работать по дереву. Делаешь чертеж на добротной бумаге, заготовляешь древесину— чистые доски с тонкими узорчатыми прожилками, строгаешь их, и как приятен запах дерева, когда он бьет тебе в нос. Я, наверно, стал бы отменным столяром, но когда мне стукнуло девятнадцать, меня призвали на военную службу, и с тех пор, как я перешагнул порог казармы, я не могу побороть в себе этот первый страх, хотя прошло уже шесть лет, — оттого я и говорю так мало... У вас все по-другому. — Я чувствовал, как краска бросилась мне в лицо, потому что ни разу в жизни я не говорил так много.

Геккер раздумчиво глядел на меня.

— Так-так, — сказал он, — столяр, это, наверно, стоящее дело. Но разве у тебя никогда не было девушки? — вдруг спросил он, повысив голос, и я уже знал, что мне опять придется его одернуть. — Никогда? Ни разу не склонил ты голову на плечо девушки, никогда не вдыхал запах... запах ее волос, никогда? Он разлил последний коньяк, и бутылка опустела. Геккер с безнадежной грустью огляделся вокруг.

— И ни одной стенки, чтоб ее расколошматить. Ага! — вскричал он вдруг и дико расхохотался. — Пусть и дружку что-нибудь достанется, пусть ее расстреляет.

Он шагнул вперед и поставил бутылку на то место, куда ударяли снаряды. И прежде чем я смог помешать этому, он выхватил из «бара» вторую бутылку, откупорил ее и разлил по стаканам. Мы чокнулись, и тут же снаружи, с эскарпа послышалось тихое «понг». Мы вздрогнули, подняли глаза и увидели, что пустая бутылка еще мгновенье стояла неподвижно и вдруг верхняя часть ее скользнула вниз, между тем как нижняя даже не пошатнулась. Крупный осколок скатился в блиндаж, почти к нашим ногам, и я помню только, что мне вдруг стало страшно, страшно с той минуты, как я увидел эту расколотую бутылку...

Вслед за тем меня охватило глубокое безразличие. Я плеснул вина в наши стаканы и помог Геккеру опустошить вторую бутылку. Да, страх и безразличие в одно и то же время. И Геккер испытывал тот же страх. Я видел это. Измученные, мы избегали смотреть в глаза друг другу, и в тот день я был не в силах прервать его, когда он опять завел разговор о девушке...

— Знаешь, — горячо заговорил он, глядя в сторону, — она жила в конце аллеи, и когда я последний раз был в отпуске, стояла осень, поздняя осень. Уже вечерело, и я не могу описать себе, как хороша была эта аллея.

Небывалую сумасшедшую радость излучали его глаза, и ради нее, я не мог его прервать, и сам был доволен, что не сделал этого. Он говорил, похрустывал пальцами, словно силился сказанное облечь в форму, но не знал как, а я понимал, что он подыскивает самые точные слова, чтобы описать мне ту аллею.

— Аллея, — проговорил он хрипло, почти заикаясь, — аллея была золотая, нет, это не выдумка, старик, ну, пойми же, совсем золотая, черные деревья в золоте, и в просветах ветвей голубовато-серая дымка— я был безмерно счастлив, когда, замедлив шаг, тихо брел по этой аллее до самого ее дома, я был очарован этой непередаваемой красотой, я упивался минутами нашего преходящего человеческого счастья. Ты меня понимаешь? И эта незыблемая убежденность в его мимолетности действовала на меня неотразимо... и... и...

Геккер помолчал немного, словно подыскивая самые нужные слова, мы чо-

кались и пили. Тут раскололась и нижняя часть бутылки и с какой-то дразнящей медлительностью один за другим покатились в окоп осколки.

Я обмер, когда Геккер внезапно встал, качнулся и резко отбросил плащ-палатку от входа в блиндаж. Я схватил его за рукав тужурки и вдруг понял, почему все это время меня не оставляло чувство страха.

— Пусти меня, — вскрикнул он, — пусти меня, я пойду, я пойду в ту аллею...

Я стал снаружи возле него с бутылкой в руке.

— Я пойду, — прошептал Геккер, — я дойду до самого конца аллеи, где стоит тот дом! Перед ним железная ограда, и та девушка живет наверху и...

Ужас охватил меня, я пригнулся, потому что снаряд, просвистел мимо нас, угодил как раз туда, где стояла бутылка.

Геккер, запинаясь, бормотал бессмысленные слова, выражение безмерного счастья не сходило с его лица, теперь такого кроткого и просветленного. Быть может, я успел бы еще его остановить, вернуть назад, как он мне велел. Из его бредовых слов я мог разобрать лишь одно: «Я пойду туда, я только дойду туда, где живет моя девушка».

Я казался себе мерзким трусом, когда сидел на корточках с бутылкой коньяка в руке, я чувствовал себя повинным в том, что был трезв, железно трезв, в то время как лицо Геккера выдавало непередаваемое блаженное опьянение. В оцепенении смотрел он на вражеские линии между почернелыми стеблями подсолнухов и разбомбленными крестьянскими дворами, я не спускал с него глаз.

— Лейтенант, — окликнул я его тихо, — пойди сюда, выпей, — и протянул ему бутылку. А когда я попытался подняться с корточек, то понял, что сам пьян. Он не слышал моего зова, и как раз в тот момент, когда я раскрыл рот, чтобы еще раз позвать его и хоть бутылкой уберечь от беды, я услышал четкое и звонкое «понг». С поражающей поспешностью Геккер обернулся, бросил сигарету, мельком улыбнулся мне своей кроткой блаженной улыбкой, осел и очень медленно повалился навзничь — леденящий холод сковал мне сердце, бутылка выскользнула из рук, и я в ужасе смотрел на ее горлышко, откуда с еле внятным бульканьем, растекаясь крохотной лужицей, сочился коньяк. Снова стало до жути тихо, и эта тишина была угрожающей...

Наконец-то я отважился посмотреть Геккеру в лицо. Щеки его ввалились черные глаза смотрели в одну точку, и все же на лице его не угас еще отсвет той улыбки, с какой он в самозабвении бормотал бредовые слова. Я знал, что он мертв. И вдруг я закричал, закричал, как безумный, позабыв о всякой осторожности, перегнулся через край блиндажа и позвал:

— Гайн! Гайн! Гайн, Геккер убит!

И не дождавшись ответа, я с криком упал на землю. Ужас охватил меня. Голова Геккера слегка приподнялась, приподнялась едва заметно, но я видел, как кровь хлестала из нее, и еще... страшная изжелта-белая масса; о сущности ее у меня не могло быть сомнения. Она лилась и лилась, и я, остолбенев, думал лишь о том, откуда столько крови из одной лишь его головы. Весь пол нашего блиндажа был залит кровью: глинистая почва едва впитывала ее, и кровь уже растекалась у моих ног, там, где я стоял на коленях у пустой бутылки...

Я был один на свете с этой кровью, потому что Гайн не откликнулся на мой зов, и тихий посвист посланного со снайперской точностью снаряда уже не нарушал наступившего затишья...

Внезапный залп взорвал тишину, я вздрогнулся и тут же ощутил удар в спину, который, как это ни странно, не вызвал боли. Я упал ничком, головой на грудь Геккера, и покуда вокруг меня нарастал шум, бешеный лай пулеметов из блиндажа Гайна и оглушающие минометные разрывы, которые мы называли органом, — во мне постепенно стихала тревога. Потому что вместе с темной кровью Геккера, что все еще стояла на полу блиндажа, смешалась яркая, изумительно яркая кровь, и я знал, что она моя, эта теплая алая кровь, и я опускался все ниже и ниже, покуда, блаженно улыбаясь, не оказался у входа в ту аллею, для которой Геккер не находил слов, чтобы описать ее, оттого, что деревья стояли уже голые и одиночество и запустение гнездились в просветах их блеклых сучьев, и надежда угасала в моей душе, когда я вдали, в несказанно дальней дали, в мягком золотистом отсвете заката увидел машущий мне рукой силуэт Геккера.

Перевела с немецкого
Эмилия Грейнер

ВЕНИАМИН БЕЗРУКОВ

После долгой зимы

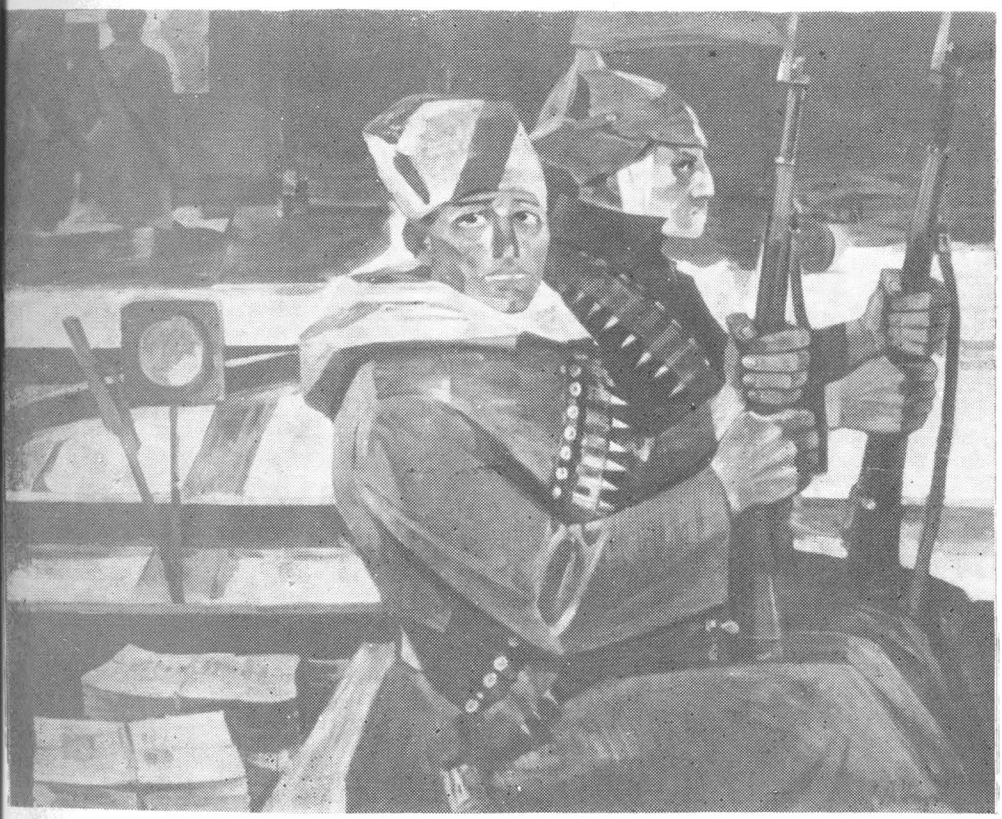
Все понятия, люди, деревья,
Дома и предметы
Очень странно впадают
в очертания лета.
Бормотанье старух у подъезда
молитвенны.
А чему они молятся?
Времени?
Кошкам?
Печали?
Этот шорох... не листьев
и... кажется лиственным, —
так неясен, не прибран
так, будто он изначален.
В мире комнаты
знал я на ощупь предметы.
Но ушли обобщенья
в себя
незаметно.
По-иному глядят на меня изнутри.
— Что сказал? Повтори.
— Жест вот этот
Опять повтори.
Повторяю. Опять и опять. Потому,
Что надеюсь — не прежнее что-то верну.
Это я постепенно
себя приближаю к тому
отдаленному через весну.
Вот и мысли...
Иная у них кривизна.
Так бездомно повисли
над летом.
А лето — без дна.
Нажимает на листик
и бережно-бережно — вылиняй.
Потеряешь окраску,
но будешь озвучено... линией.
Непонятно...
А быть для чего — непонятными?
В очертаниях лета (по краешку рта)
босиком
ходят медленно
рваными пятнами
тени.
...Ну зачем вы спешите добавить,
что с этим
никто не знаком.

НИКОЛАЙ ПИСКАЕВ

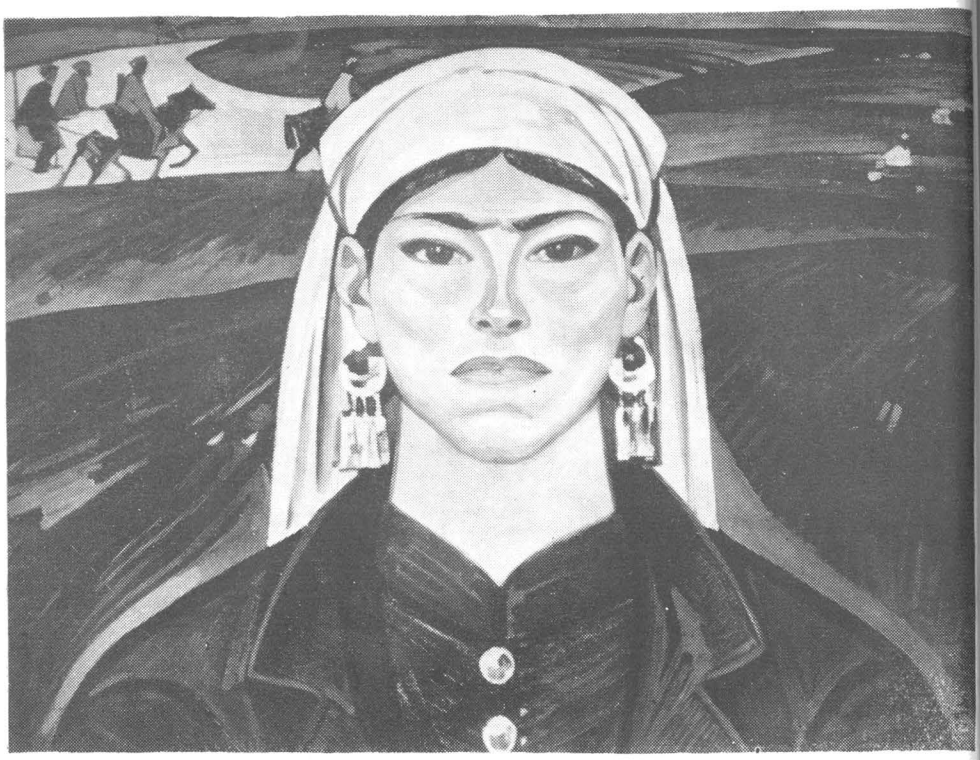
Зимой, когда работы убывало,
Как повелось в деревне испокон,
На конный двор в закатный час, бывало,
Сходились мужики со всех сторон.
Садились на скамейки и курили —
Поскольку света не было — впотьмах.
Сначала о колхозных говорили,
Потом о государственных делах.
До всех царей умерших добирались
И спорили о таинствах Луны.
Толково, по-крестьянски обсуждались
Проблемы жизни, мира и войны.
От любопытства пацаны сгорали,
Ловили каждый приглушенный звук...
Недаром в шутку конный двор мы звали
Колхозной академией наук.

АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ КИРЧАНОВ

Живет в Кузбассе хороший художник — Александр Николаевич Кирчанов. В 1969 году ему исполнилось 50 лет. Вся его жизнь и творчество связаны с нашим краем. Главная тема, которой вот уже более тридцати лет отдает он свой щедрый талант, — современность. Его герои — люди большого человеческого достоинства, душевно щедрые и немного суровые. Работы Кирчанова получили всеобщее признание. Он — участник многих республиканских и всесоюзных выставок. В этом номере мы знакомим наших читателей с некоторыми работами Александра Кирчанова.



СТАНЦИЯ ВЗЯТА. 1966—1967. Темпера.



ДОЧЬ САЛАИРСКОГО КРАЯ. 1968. Темпера.

МОРСКИЕ ОКУНИ. Натюрморт. 1969. Темпера.

ПРОВОДЫ. 1963—1939. Масло.

ЖЕНСКИЙ ПОРТРЕТ (артистка цирка). 1967. Темпера.

ПОРТРЕТ ШАХТЕРА. 1969. Темпера.

СОВХОЗНЫЙ КОНЮХ. 1968—1969. Масло.

П. ВОРОШИЛОВ

Свадьба с приданым

Слух об этой свадьбе в Костенкове прошел по всей области на удивление быстро и широко...

В то время по своим журналистским делам был я в одном из наших северных районов, хлеборобы которого неожиданно для всех на своих серых землях стали брать такие урожаи, что впору было ехать к ним за умом и опытом солидным, знающим себе цену председателям богатейших колхозов степного черноземья. Люди не сразу и не все поверили в свою выстраданную удачу, на вопросы отвечали неуверенно, в будущее заглядывали с опаской. Их можно было понять — стоило только глянуть на местные поля. Поля эти то чередовались с просторными березовыми колками, то карабкались на притаежные косогоры, то тянулись узкими полосами вдоль берегов безымянных речушек. Выглядели они довольно живописно. Но работать на них было трудно. На таких клочках не развернуться технике, замысленной и созданной в расчете на бескрайнее приволье Поволжья, Украины и Кубани. Опять же и климат. Пословица о том, что летний день год кормит, здесь имела прямой смысл: поспешил чуть — высушит зелня злой июньский заморозок, припозднился, и опять беда — случается так, что уже в конце августа пахнет с гор холодом первого снега и потечет на землю из неокрепших колосьев тощее, морозобойное зерно.

Ночевать пришлось мне в деревне, храбро вклинившейся своей единственной длинноющей улицей между высокой, круто срезанной скалой и быстрой, порожистой здесь, Кией.

Первые поселенцы хорошо знали цену огнем и топором расчищенной земли-кормилицы и дома свои поставили на бесплодной галечной косе, заняв под огороды безлесный остров, отделенный от деревни глубокой и тихой протокой.

Местный председатель, потомственный, как он сам сказал, чалдон, мужчина в летах, грузный и словоохотливый, пригласил к себе домой. Это гостеприимство определялось, видимо, и общительным характером председателя, и целым рядом других обстоятельств. Гостиницы и столовой в деревне не было, а кормить гостя так или иначе все равно надо. И заботиться об этом, кроме председателя, некому, тем более, что приехал я со своим разговором хоть и не совсем ко времени, но опять же к нему, председателю.

К столу подали наваристую уху из свежих хариусов, которых походя промыслил председателев меньшой, возвратившийся под вечер с покоса. А когда опустела «про запас» припасенная хозяином бутылка, сама собой исчезла настораживающая официальность разговора, на смену ей пришла доверительность, которая где-то рядом с дружелюбной искренностью.

Из нашего разговора получалось, что люди в деревне живут с достатком, а нынешний урожай, если заморозки припозднятся самую малость, будет из всех последних лет.

— Все потому, что доверие мужику вышло, — решительно басил председатель. — Раньше как было? Сеяли мы со всеми вровень, чтобы областную сводку не портить. А земли у нас холодные, тяжелые. Брали сам-шост и радовались, что первыми убрались. Скудная радость.

— А сейчас не торопят?

— Ну, как не торопить... И нынче торопят, но с умом. Район наш не сводками, а хлебом теперь отчитывается. Да и меня, к слову скажу, не вдруг уже повернешь. Бывало как? Урожай собрал побольше, — и план дают побольше, поменьше уродилось,— и план поменьше. Выходит, все едино так на так при любой погоде получалось. Сегодня у меня каждый лишний пуд тому же государству, но по хорошей цене пойдет.

Есть смысл с этим пудом повозиться. Видал, поди, какая пшеничка тянется? Думаешь, мы новый сорт какой умыслили? Нет пока. Просто сеять стали вовремя. Всего и ума.

— А народ как?

— Что народ? — не понял меня сразу председатель или только сделал вид, что не понял.

— Народ за колхоз, за деревню держится?

Председатель, подумав, ответил:

— Народ, ведь он тоже разный, неодинаковый, стало быть. Хозяин, если самостоятельный и с понятием, из наших мест никуда не тронется. Во-первых, с хлебом мы. Деньжонки тоже водятся. На пойменных лугах по Кие-матушке скотине раздолье. Во-вторых, тайга под боком. Понадобилась лесина в хозяйстве, ходить за ней не за тридевять земель. И подкормит тайга сноровистого человека. Грибы там, ягоды, орехи. Зверь, птица разная у нас тоже пока держатся. А пчелы? Река в деревенские окошки заглядывает. Где еще искать такую благодать? Самостоятельный мужик свою выгоду видит, держится за колхоз. Молодежь, конечно, уезжает. Легкая нынче молодежь.

— Город манит?

Председатель вдруг рассердился.

— Что значит манит? Меня, может быть, тоже куда-нибудь, где молочные реки в кисельных берегах текут, манит. А я вот уже пятьдесят с хвостиком лет сижу тут и смотрю, как солнце день за днем все из-за той вон скалы выкатывается. Только на войну отлучался. И раны после госпиталя в этой деревне залечивал, и из-под Берлина, когда по чистой в запас вышел, сюда же вернулся. Потому как батька мой и батькин батька на здешнем погосте лежат. Потому как перед самой войной начали мы Сухой речки болотину раскорчевывать, но не управились. И я помнил, что без меня ту болотину до ума довести будет некому. Мужиков война крепко поубивала, а бабам корчевка неподсильна. Потому и вернулся. А нынче, чуть что не так, пыр-фыр — и на все четыре стороны.

Председатель говорил о том, что давно и крепко наболело у него на душе, и мои реплики, видимо, только растравляли его обиду на какую-то новую, непонятную молодежь, которая готова бросить родные места, не одним поколением нажитое хозяйство. А что найти? Койку в общежитии, в маленькой комнатушке на четверых? Развлечения разные?

— Всякий человек в этом миру прежде всего работник. Все остальное ему потом. Мне тоже комиссии разные талдычат, что клуба нет, спортплощадку не построил. Баловство все это. За день в поле так наломаешься, что одна у тебя охота — соснуть лишний часок. Недавно приехал к нам на побывку из армии Санька Косых. Парень не из самых видных. В армии, правда, ума понабрался, в технике навострился разбираться. Служит-то в танковой части. К осени Саньке демобилизоваться время, в аккурат к зяби должен поспеть. А нам в колхоз тракторист нужней меня — председателя. Придавил я свое самолюбие и, вроде бы ненароком, завернул к этому Саньке. Другой бы на его месте от такого визита стыдом изошел, а он приглашает к столу, сам заместо хозяина садится и давай дорогого гостя мудрой беседой просвещать. Я ему о делах наших, о зяби, о заработках, а он возьми и ляпни: «Скучно живете, председатель». Вот так. И надо мне вместо конюха клоуна в колхозе заводить персонально для Саньки Косых.

— Так и не договорились?

— Договоришься с ним! Уехал варнак на стройку и лучшую мою доярку с собой увез. Маются теперь вдвоем по чужим углам. Молодых, пока они своим умом не обзавелись, надо в строгости держать. А мы, наоборот, не знаем, как их ублаготворить да умаслить. Слыхал, поди, о свадьбе в Костенкове?

О свадьбе в Костенкове я слыхал. Но, признаться, удивился, что слух о ней успел докатиться до этой притаежной деревни. От Костенкова до этих мест в полтыщи верст не уложиться. Птицы и те напрямую сюда не летают: горы кругом да тайга немеряная, нехоженая. Да и что в этой свадьбе особенного? Разве что приданое? Жених, Валерий Чекрыгин, из армии демобилизовался. Не на чужое подворье примаком, в родной колхоз парень вернулся. Профессия у него по нынешним временам завидная: механизатор широкого профиля. Летом — в поле работа, зимой — на ферме. Не ленись, и приличный заработок всегда обеспечен. Невеста, Нина Попова, доярка не из последних. Не сирота и не бесприданница. Кто в Костенкове бывал, знает, что местные девчата не с пустыми укладками замуж идут. У старшего Попова собственный дом крестовый. Мог бы молодым комнатушку выделить, пока собственной избой обзаведутся. Но при всем этом колхоз наделил новую семью добротным пятистенником в бессрочное и безвозмездное пользование. Мебель им из города привезли. Выбрали со вкусом, не торгуясь. Живите-радуйтесь. Гос-

тей, — а на свадьбу собрались чуть ли не всем селом, — тоже за артельный счет потчевали.

— И чем же эта свадьба людей в смущение ввела? — спросил я.

— Он еще спрашивает! Да бабы наши на своих летучих собраниях у деревенских колодцев только об этой свадьбе и говорят. Все им, оказывается, доподлинно известно, будто видоков своих в Костенково засылали. И колхозное приданое ими сосчитано и пересчитано. Богатющее приданое. Мне же теперь хоть на улице не показывайся. Ну, на каком прикажете мне говорить языке с нашими невестами? Они, положим, молчат, гордость свою девичью соблюдают. Но ведь и молчание иное криком кричит. Почему, кричит, в Костенково парни после демобилизации домой норовят вернуться, а здешние женихи под любым предлогом целят в город улизнуть? Что я им отвечу? Нет у меня денег на всякие фокусы-мокусы. Мне два свинарника строить надо. И где Дегтяренко такие капиталы берет?

Ушел на хозяйскую половину, грузно придавив половицы, председатель, чтобы сснуть свой не лишний часок. Напротив меня спит напромышлявшийся за день «меньшой». А мне все не спится. Слишком свежи и многообразны впечатления этого по-летнему длинного дня. В уютной темноте горницы, широко распахнувшей окна навстречу зыбкой речной прохладе, думается легко и спокойно. Думаю я о свадьбе. Но теперь я смотрю на свадьбу не как посторонний человек, а заинтересованным взглядом местного председателя, для которого горьким оказалось в чужом пиру похмелье.

Чужая радость никому не в тягость. Однако и у щедрости своя точная мера есть, иначе как же эту щедрость от обычного мотовства отличишь. Рубли колхозные по осени не с веток вместо листьев сыплются. Каждый целковый соленым потом не раз омыт, в крепких, как рубцы, мозолях обласкан.

Хозяйственному мужику испокон века приходилось сначала думать о том, чем жить, что к столу подать. А о том, где жить, в каком углу стол поставить, не вдруг загадывали. На новом месте начинал мужик с того, что после чистил и холил, спешил скотину под крышу поставить. Сам же из землянухи в новый, построенный между делом, дом только на третий или четвертый год перебирался. Бывало, что совсем не перебирался. В конце концов все зависело от того, как чистил и холил мужик свое поле, как сумел приберечь скотину.

Суровая эта наука в кровь и плоть крестьянскую вошла, частью души стала. Попробуй у местного председателя рубль на всякие «фокусы-мокусы» попросить. Не даст. Денег у него нет? Механизированный ток поставил. Два свинарника строить собирается. И все равно «нет денег». От жадности такое? Сам себя, извечную свою крестьянскую привычку сберечь кусок на черный день он пересилить не может. И правленцы, всякое на своем веку повидавшие — и войну, и недород, и голод, — намертво председателя своего поддерживают.

Молодежь о черных днях разве что краем уха слыхала. Ей прошлому молиться резона нет, расчетливость отцов ей, молодежи, видится скопидомством, без всякой хозяйственной окраски.

Вот и рассуди, кто в этом споре прав и кто виноват? Рассудить, кстати, совсем не так просто, как иной раз кажется. Помню, в одном совхозе директор и общественные организации, решив «раскрепостить» крестьянок от домашней работы, первым делом постарались от скотины освободить. Столовую построили, магазин полуфабрикатов, молоко и мясо из склада — рабочим по себестоимости. Хозяйки быстро разобрались в нововведениях: Зорек и Буренок своих — на ближайший базар, боровка — под нож. Опыт этого совхоза пропагандисты подняли было на щит, да, к счастью, довольно быстро проявилась его оборотная сторона. У нас в личном хозяйстве находится каждая третья корова, каждая вторая свинья. Картошки люди на своих огородах собирают в пять раз больше, чем сдают в торговую сеть все наши колхозы и совхозы, вместе взятые. Раскрепостить, конечно, хорошо, но ведь и есть что-то раскрепощенному надо. Законы экономики — объективные законы. Только господу богу удавалось несколькими хлебами весь народ накормить. Но в эти сказки сейчас и старухи не верят: еще никому не удавалось выхлебать больше того, что в миску налито.

Сибирская деревня богатеет на глазах, богатеет основательно и надежно. Больше стало машин на полях. Обзавелись породистым скотом. Давно ли при виде полосы с хорошо заделанными концами все мы испытывали некий умилительный восторг, видели в этом живое подтверждение пробуждающегося интереса к высокой культуре земледелия. И вот уже совсем другим стало понимание высот этой самой культуры. И мерилом ее стали научно составленные севообороты, районированные семена, полная норма органических и минеральных удобрений, разные мудреные гербициды и под-

кормка с помощью авиации. Строятся клубы, школы, спортивные комплексы. В каждый дом приходит не просто достаток, постепенно приходит уверенность, что достаток этот не временный, не случайный. Заедешь в иное село и не сразу разберешься, чего над крышами больше: традиционных скворечников или антенн телевизоров?

Но пришло ли время заводить в колхозах еще и свадебные фонды? Деньги, применительно к тем доходам, которые получают сейчас колхозы, скажем, не так уж и велики. Но это для кого как. Здешний вон председатель, на улицу выходя, заневестившимся девчатам стыдится в глаза смотреть, но кассу перед ними распахивать не собирается. Каждый рубль он привык там положить, где к рублю хоть копейка да пристанет. А от свадьбы какой прибыток?

Я уснул, твердо решив, что обязательно побываю в Костенкове, расспрошу народ об этой свадьбе с колхозным приданым. Да и председатель, прощаясь поутру, напомнил:

— Будешь в тех краях, скажи Дегтяренко, что по одной земле ходим. И не надо бы друг для друга ямы рыть.

В Костенкове мне пришлось побывать не скоро. Село — не близкое, дело — не спешное. Собрался как-то среди зимы заглянуть, но с полдороги оборотил нашу машину разгулявшийся по увалам буран. Неудачной оказалась и вторая попытка, уже весной: на подплывший жирной грязью большак ступить боязно, а ехать по нему и совсем невозможно. И только жаркий июнь, рассыпавшийся по перелескам цветастым, наспех сметанным ковром, открыл все пути-дороги.

Приехал я в Костенково близко к полудню. Старинному селу было уже тесно на старом, надежно обжитом месте. С пригорка хорошо видно, как от центра села в разные стороны разбегались короткие улочки, застроенные новенькими, один к одному, нарядными домиками под шатровыми крышами из шифера. Несколько таких домиков с левого безлесого берега Чумыша переселилось на таежный правый. Еще бросилось в глаза многолюдство села. Обычно в такое время встретится тебе у околицы лишь поредевшая стайка разномастых ребятишек, вечно озабоченных своими ребячьими делами. А тут на каждом подворье хозяин с хозяйкой. По улицам народ прогуливается. Идут чинно, одеты чисто.

— Престольный праздник справляете? — спросил я у старика, пригревшегося на невысокой завалинке.

Обутый в черные с галошами чесанки, распушив для солидности несколько жидковатую бороду, старик был занят тем, что неспешно, но сноровисто сапожным ножом выстругивал зубья для грабель. Он уловил скрытый смысл моего вопроса, глянул на меня неожиданно веселыми чистыми глазами и ответил, как отвечают на праздный вопрос проезжего человека, коротко и определенно:

— Отсеялись. Гуляет народ.

Я люблю разговаривать с умными, все понимающими деревенскими стариками. И не только потому, что помнят они то, что уже давно и никто не помнит. Умеют они с удивительной достоверностью раскрыть характер человека, всякий раз подмечая в этом характере такие черты, о которых, вполне возможно, не догадывается сам обладатель этого характера. Со своей меркой подходят старики и к оценке всех, заслуживающих их внимания деревенских событий. Они всегда приветливы и уважительны, с охотой, как должное, принимают городские гостинцы, но и сами готовы радушно принять человека, напоить захолодевшим в погребе молоком, рассказать старую бывальщину о здешних местах и людях.

Я присел на завалинку. Закурили: старик — предложенную мной городскую сигарету с желтым коротким мундштуком, я — самокрутку из стариковского кисета. Табак в кисете оказался в меру крепким, сдобренным какой-то душистой травкой. Помолчали. Но старик уже заметно подобрел. Получалось, что теперь я его гость, а он хозяин, хотя и принимает случайного гостя пока лишь на завалинке.

— Рыбалить? Или опять же по делу к нам?

— Скорее по делу.

— Оно и верно. Перевелась в Чумыше рыбка. Раньше-то по этим местам сплошь мельницы стояли. У каждой мельницы свое плесо. А ноне отшумит по весне Чумыш и потом все лето сочится ручейками мелкими. Где рыбе держаться? Одни гальяны остались.

Старик посмотрел на голубую «волгу» и, решив для себя, что на такой ухоженной и чистой машине на рыбалку не ездят, продолжал: — Но и по делу, однако, не совсем ко времени приспели. Как перешли мы на городской манер на два выходных в неделю, так Николаевич, председатель наш, сам сразу после страды каждую субботу самолично на правление замок навешивает и никакими приемами не занимает-

ся. Не с кем вам, выходит, дела решать.

— А у меня дела особые. Свадебные дела. Их не с одним председателем решать можно.

— Так снова не в кон попал. В моем доме одна моя старуха в женском сословии значится. Но ее не сосватаешь. Она и со мной в достатке намаялась. В молодости-то лихой я был. Девки у нас в селе тоже гонористые пошли. На кривой кобыле ни к одной не подъедешь. И Николаевича вам при этом не миновать. Иная девка под венец идет, матери не спросив, а с председателем все-таки посоветуется.

— Вот и у меня к тому разговор. Наделали вы на всю область шуму со своими свадьбами. Приехал понять, что к чему. Поразному люди о свадьбе говорят.

— На то они и люди,— отозвался старик.— Одинаково-то одни овечки мекают. Так у овцы всего и забот, чтобы брюхо набить. Народ наш к этим свадьбам со всем пониманием относится. На общем собрании за них голосовали.

— И вы с бабкой голосовали?

— И мы,— сказал старик, широким жестом распушив вправо и влево успевшую обвиснуть на клин бороду.

— А какой резон был голосовать?

— Нам со старухой прямой был резон. В том месяце мы внучку свою за здешнего парня просватали. Хороший парень ей приглянулся. И к нам с уважением, мне на свадьбе первая рюмка, мне первое слово. В передний угол нас, старых, посадили. А на иное я бы не согласился. Отец у внучки скоро после войны помер. Так я ей заместо отца и деда одним разом был. Но не только в резоне дело. Люди в деревне издавна миром живут.

Да, обычай этот крепко держится в сибирских деревнях. Попавшему в беду человеку помогают не только добрым, ни к чему не обязывающим советом. Повелся этот обычай еще с первых переселенцев. Где было мужику ломаться в одиночку в вековой тайге, поднимать захрясшую, в камень слежавшуюся целину. Потому и научились делить поровну с соседом последний кусок хлеба, миром ставить избу погорельцу, пригреть стариков и сирот. Меняются времена, но живут старые обычаи, наполняясь новым содержанием, находя другое выражение. Кому придет сейчас в голову христа ради определять сирот в мирские подпаски? Колхоз берет ребятишек под свой призор и обездоленными не оставит. И делу настоящему научат, и в институт своим стипендиатом пошлют. Если, конечно, склонность и рвение к наукам проявил. Или стариков взять? Старики, они сами любому внуку порадеть могут и место для себя в переднем углу видят. У каждого старика свое хозяйство, пенсионная книжка в кармане.

Случись недород, государство голодными не оставит, хлебом и деньгами поможет. Но государство на каждый мужичий чих не наздравствуется. С иной докукой надежней к соседу обратиться. Есть и еще в деревне немало забот, которые миром решаются.

— У голодного человека, известное дело, одна думка — о куске хлеба. Я тоже вот без отца рос. Пригонишь, бывало, стадо и идешь ужинать в дом, который по очереди кормить тебя должен. Иная хозяйка за стол позовет, а другая — у порога чашку поставит. Ешь, не обижаешься, потому как думаешь не о том, где сидишь, а о том, что ешь. Ну, а у сытого человека, помимо всего прочего, уважение к себе появляется. И крепкую он к тому уважению приверженность имеет. Мы на собраниях общих не только за свадьбы голосовали. Но обо всем этом, мил-друг, надо тебе с председателем нашим посоветоваться. От него это все пошло, ему и ответ держать.

Старик подумал недолго и, решив, что он все сказал, что нужно было сказать приезжему гостю, снова взялся за свой сапожный нож. Но, когда я, попрощавшись, пошел к машине, старик добавил вслед:

— К вечеру-то обязательно объявится Николаевич. В доме своем объявится. Там и жди его, пока он в город не укатил.

С председателем колхоза имени Димитрова Константином Николаевичем Дегтяренко я был знаком давно. Правда, знакомство наше было таким, какое в народе метко называют шапочным. Встретимся на областном активе или на сессии, во время перерыва перекинемся парой слов, и с тем до следующей сессии. Но слышать об этом незаурядном человеке мне приходилось часто. Что было в этих рассказах о Дегтяренко правдой, что было вымыслом, судить не берусь. Но всякий раз запоминался мне Дегтяренко своей непохожестью на других, строптивостью своего характера, несокрушимой основательностью своих поступков. Работать он умел, и, наверное, потому Дегтяренко прощали неуступчивость и неподатливость на всякие скоротечные сельскохозяйственные кампании, признавали за ним право на риск, на эксперимент, который иногда уходил в сторону от торной дороги. К слову сказать, как ни ломали Дегтяренко вслед за остальными распахать се-

менные участки многолетних трав, не поддался и буквально через два года этими семенами с большой прибылью торговал с теми хозяйствами, которые всеми силами торопились восстановить порушенные севообороты. Людям, хорошо знавшим Дегтяренко, казалось, что все ветры жизни дуют мимо него, чуть только взъерошив и к шестидесяти годам не поредевшую шевелюру. А ведь истинная цена человеку не та, в которую он себя сам оценил, а та, которую за него люди дают.

Так вот что приходилось мне слышать о Дегтяренко.

Дегтяренко будто бы в колхоз имени Димитрова никто не звал и не направлял. Сам пришел и нанялся работать председателем. А случилось это так.

Совсем собрался Дегтяренко в родные кубанские степи. Деньжат прикопил, сколько удалось, хозяйство распродал. Однако на заводе, на котором он тогда работал, иначе рассудили. Вызвал Константин Николаевич к себе директора завода и сказал ему:

— Назначаем тебя нашим подсобным совхозом управлять. Поднимешь совхоз на ноги, спасибо скажем, сами билет тебе на поезд купим и проводим честь честью.

Поставил Дегтяренко совхоз на ноги. В два года поставил. Пришел за обещанным расчетом, а директор ему говорит:

— Пойми меня, Константин Николаевич, правильно пойми. Надо быть круглым идиотом, чтобы такого руководителя совхоза отпустить в кубанские степи. Обещал я, верно, и помню свое обещание, но заявление твое, извини, рука подписать не поднимается.

Дегтяренко директора завода понять понял, но не извинил. В его понимании у человека должно быть одно слово. Да и нельзя в наше время приказом работать заставить. Надо так дело вести, чтобы человек в общем интересе свой интерес видел, чтобы душа у него к этому общему делу тянулась.

В тот день и заглянул Дегтяренко в колхоз имени Димитрова. Знали его здесь хорошо. Приходилось и на полосе встречаться, и в одном стане от дождя прятаться. Само собой, что и помогали друг другу по-соседски: земли колхоза и совхоза рядом расположены.

В просторном коридоре дома колхозного правления мужики сидели тесной кучей, нещадно дымя самосадом. Слово за слово, разговорились. Мужики посетовали, что совсем сошел с круга председатель: запоем пьет. Менять надо. И опаска берет. Кто в здравом уме и доброй волей в Костенково пойдет? Неровен час, выменяешь кукушку на ястреба. В район думали стукнуться и... передумали — пришлют какого-нибудь горлохвата стращать да подтягивать. А что к чему подтягивать? Пупок к хребтине?

— Меня возьмете? — предложил мужикам Дегтяренко.

Те, конечно, поначалу не поверили. Говорят, что не шути, мол, Константин Николаевич, что беды, свои они ему на воротник вешают с расчетом, чтобы он при случае уронил в районе заветное голубиное слово, что пора подобрать для костенковцев надежного председателя, что надоело костенковским от плетня к плетню качаться.

— А я не шучу, — сказал Дегтяренко.

Тогда мужики решили, что вышла у Николая Константиновича какая-то серьезная промашка в совхозе.

— И промашки не было, — успокоил их Дегтяренко. — Совхоз у вас как на ладошке, все на виду. Но к вам я пойду. Насовсем пойду. Тут и хоронить будете: конюхом или председателем. Время покажет, как получится.

Зимой люди около своих домов держатся. Собрался народ и приговорил, что быть Дегтяренко председателем. В райкоме и райисполкоме решение общего собрания тоже быстренько утвердили: кто же не знал Дегтяренко в районе. Директор завода пытался оспорить решение собрания. Но его и слушать не стали.

Еще вот что рассказывали о Дегтяренко.

Колхоз имени Димитрова сейчас у всей области на виду, потому как умно и богато ведут здесь люди свое артельное хозяйство. А в недавнем прошлом позавидовать было нечему. Земли колхоза напоминали вышедшие даже из деревенской моды старые лоскутные одеяла: там гривка, тут косогор, распаханы. Легко ли крутиться на таких пятачках. И толку чуть. Таскаешь, таскаешь по полю борону, а по весне хлеб пополам с травой взойдет. Правда, луга и тогда были хороши. В березовых, высветленных солнцем перелесках и в глубоких, надежно укрытых от ветра логах зеленой стеной стояло сладкое разнотравье. Скотина после зимовки выправлялась за неделю и без всякой прикормки, на даровых хлебах давала хорошие удои. Но кому же не известно, что в сибирских условиях животноводство — самая трудоемкая отрасль и здесь хозяйство не вдруг свои прибытки найдет. А всего хуже было то, что за много лет разуверились люди в колхозных доходах. Кормились с приусадебных участков, держали свиней на продажу. В колхо-

зе работали ровно столько, чтобы выбрать необходимый минимум трудодней. Тут-то и проявил свой характер Дегтяренко. О дополнительной оплате многие тогда еще сквозь зубы поговаривали, а он собрал доярок и скотников, потолковал с ними и одним махом ввел колхозные премии за сверхплановую продукцию.

Потянулись бабы на фермы. Надои заметно пошли в гору. Но скоро подоспела пора рассчитываться. Дегтяренко в банк за деньгами, а ему от ворот поворот: колхоз в долгу, как в шелку, все кредиты выбраны, сидит на просрочке. И так, и эдак доказывал свою правоту Дегтяренко, говорил, что миллионное дело начал, что обещал он дополнительную оплату и по всем законам человеческой морали обязан выплатить ее в срок и полностью. Ничего не доказал. Государственные деньги тоже счет любят. Чеки в банке под честное слово не выписывают. Ты под них хлеб, молоко, мясо выложи.

Пошел Дегтяренко в сберегательную кассу, снял с книжки свою, припасенную еще для Кубани, наличность, у друзей призанял и расплатился с доярками. Расплатился в срок и полностью, понимая, что раз солгавшему никто не будет верить.

Деньги свои Дегтяренко, само собой, со временем получил из колхозной кассы обратно. И с хорошим процентом. Процентом этим было доверие к нему, к его слову.

И еще слышал я историю о том, как Дегтяренко одного навязчивого проверяющего из колхоза наладил. Метель, рассказывают, была — свету белого не видно. Дегтяренко велел прицепить легковую машину проверяющего к гусеничному трактору, передом бульдозер послал. Причем было это не тогда, когда сам Дегтяренко уже в силу вошел, стал в области известным человеком, Героем Социалистического Труда, когда во всех своих делах он получил надежную поддержку районных и областных организаций. Случилось это раньше, много раньше.

После всех таких вот рассказов у меня сложилось устойчивое впечатление о Дегтяренко, как о человеке властном и суровом, которого от близкого уже шага к самодурству предохраняет природная честность и глубокая партийность. Для себя лично он не искал в жизни ни славы, ни богатства. Свадьба с приданым несколько поколебала мою убежденность, открыв в характере Дегтяренко новую, вроде бы не свойственную ему черту. Но в этом еще предстояло разобраться.

Дегтяренко, как и предсказал мне старик, объявился к вечеру. Крупный, с широкими вислыми плечами, в комнате приземистого селянского дома, он словно еще прибавил в росте. Но годы не обманешь. Вот уже и глаза все больше затягивает тень непроходящей усталости, да и зубы стерлись почти до самых десен.

Жена Дегтяренко вместе с дочерью жила в городе. Он, видимо, привык к своему полухолостяцкому положению, и сам быстро собрал немудреную сельскую закуску. Приглашая к столу, предупредил:

— Водки не держу.

Ел Дегтяренко много, с той деревенской основательностью, которая объясняется хорошим здоровьем и привычкой заложить кусок впрок. Закрутишься по полям и, глядишь, тем, чем позавтракал, весь долгий день сытым надо быть.

Огонек беседы, усиленно раздуваемый одним мной, разгорался слабо и неохотно. Дегтяренко отвечал на вопросы скупо, деловито, но без той внутренней заинтересованности, которая оживляет разговор.

Я не люблю даже перед самыми именитыми собеседниками расчетливо рядиться в серенькие одежки всем изумляющегося дилетанта. Журналисту отнюдь не вредит в меру своих сил и возможностей быть осведомленным человеком. Собираясь к Дегтяренко, я прочитал то, что было написано о нем и колхозе имени Димитрова, проконсультировался в районном производственном управлении, в райкоме партии. Поэтому я в общем-то знал, на каких дрожжах артельная жизнь замешана.

Экономику колхоза определило соседство полумиллионного Новокузнецка. Отсюда пришла специализация на производстве молока, овощей, раннего картофеля, меда. Доход колхоза к двум миллионам рублей подошел. По доходам и достатки. На работника приходится по 140 рублей в среднем за месяц. Жить можно. Но, как сказал старик, только голодный человек о куске хлеба думает, у сытого есть и другие заботы. В области немало колхозов, доходы которых не меньше, чем в колхозе имени Димитрова. А все равно не держится в них молодежь. Стареет деревня. Уходят парни и девчата в город. И упрекнуть их не в чем. Не на даровые хлеба, не за легким житьем уходят. Уходят добывать уголь, варить сталь, строить. Это надо. Но и хлеб растить надо. Все надо. Во всяком случае, в этот стихийный в своей основе процесс миграции населения давно пора внести какое-то организующее начало. Уходят ведь не из всех сел. Из Костенкова не уходят. Почему? Не только потому, что доход высокий. Рядом с Костенковом мощный Лист-

вянский угольный карьер. И заработки на карьере повыше, чем в колхозе. Что же властно позвало Валерия Крыгина вернуться после армии в родное село? Оставленная здесь невеста? Воспетая поэтами березка у околицы? Или профессия?

Я спросил об этом Дегтяренко. Он отрицательно покрутил головой. Мог Валерий работать на карьере и жить в деревне. Тут тебе и невеста, и поэтическая березка под боком. И не профессия. Трактористы и шоферы всюду нужны.

— Иное парня позвало. Как бы это тебе половчее объяснить? Вот, к примеру, сын в семью возвращается. И потому, что о родителях своих соскучился. И еще потому, что вырастила его эта семья. И есть у него перед этой семьей неоплатный долг, который никто другой за него выплатить не может.

— Положим, не каждый сын в семью возвращается, — возразил я Дегтяренко.

— Правильно, не всякий, — согласился он. — Семьи и сыновья разные бывают. Но в нашем примере будем считать, что семья и дети хорошие. Достаточно этого, чтобы вернуться? Может быть — да, может быть — нет. Тогда еще дело парня позвало. У Валерия на глазах мы всю эту махину поднимать и раскачивать начали. И он вместе с нами тут же свои силенки начал пробовать. А еще любовь к земле, любовь не просто к профессии, а к работе. Длинная получается арифметика. И сложная. Многое в этой арифметике не решается, а принимается на веру как истина.

— И приданое поманило?

— А это с какой стороны на приданое глянуть. Если рассматривать его, как некую денежную приманку, то, пожалуй, нет. Если видеть в нем некое общественное признание заслуг молодой пары перед родным колхозом, то, пожалуй, надо сказать, что да. Решая такую сложную проблему, как закрепление молодых кадров в деревне, мало быть организатором и экономистом, надо быть обязательно еще и психологом. Возьмите повальное увлечение молодежи техникой. Это общее явление. Предложите выпускнику десятилетки полы мыть. Откажется, не спрашивая о зарплате. А дайте ему в руки полотер, пылесос, кондиционер и назовите его оператором по чистоте, согласится и будет гордиться своей профессией. У нас в коровниках автопоение есть и уборка навоза механизирована. Старые доярки всему этому не нарадуются. А молодежь на ферму калачом не заманишь. В полевые бригады тянется. Боится руки испачкать? Нет, конечно. На полевых работах у нас полная механизация всех технологических процессов выращивания и уборки урожая. В этом суть. Кстати, новые коровники мы в колхозе строим так, чтобы и здесь обеспечить комплексную механизацию. Через год-два у нас в колхозе не будет ни доярок, ни скотников, ни птичниц, будут операторы по животноводству. Тогда, поверьте, не придется даже парней уговаривать со скотиной управляться. В артели люди объединились не только для того, чтобы сообща землю обрабатывать, а чтобы жить лучше. И человек должен каждый день видеть перед собой живые тому примеры. Одного приданого для этого маловато.

В колхозе имени Димитрова я планировал пробыть от силы сутки. Но пришлось задержаться. Захотелось самому взглянуть на живые примеры, которые каждый день убеждают здешнюю молодежь в том, что за колхоз есть расчет держаться всю жизнь.

...У мальчонки открылся талант к музыке. Отец и мать понимают, что это всерьез. А делать что? Мальчонка не к рожку, а к пианино тянется. Хоть бросай все нажитое и перебирайся в город. Пошли посоветоваться к председателю. Председатель правление собрал. Рассудили правленцы по уму: создать в Костенкове музыкальную школу по классу фортепиано и баяна. Купили инструменты, пригласили опытных преподавателей...

...Пахарю и косарю в деревне по давнему обычаю лучший кусок. Не из уважения только: работа такая, что жилы тянет. Но лучший кусок иметь надо. В Костенкове для косарей и пахарей питание в поле бесплатное, за счет колхоза, за общим столом...

...Маше Батищевой пришлось школу рано бросить и пойти работать на ферму дояркой. Однако обездоленной она себя не чувствует. Заочно закончила сельскохозяйственный техникум, назначена зоотехником по племенному делу. Колхоз помог. Виталий Амельченко на трактор сел после окончания десятилетки. Учится в техникуме, скоро будет механиком. Вениамин Соколов на зоофак Новосибирского института поступил...

...Имеет колхоз имени Димитрова свой перспективный план социального развития. А в плане том предусмотрено мелкие поселки ликвидировать и основное жилье сосредоточить на центральной усадьбе. При этом проще и быстрей будут решаться проблемы водоснабжения, теплофикации, благоустройства. На центральной усадьбе появится здание бытового комбината с под-

ным набором услуг, торговый центр, спортивный комплекс. А на отдаленных полях решено построить хорошие культстаны.

Перспектива — это тоже работа по закреплению кадров. Молодежь любит в свое будущее заглянуть...

...Приболел человек, колхоз ему путевку на курорт, дорогу туда и обратно оплачивает. Учиться замыслил — пожалуйста. Водопровод построили. Понимают люди, что одному тут не справиться: в колхозе вся сила. И ребятишки это запоминают. Ребятишки — они памятливые.

Жизнь ставит перед селом все новые сложные проблемы. Сколько раз приходилось слышать, что не задерживаются в деревне дольше положенного срока молодые специалисты. Для объяснения этого приводились объективные причины, с которыми поначалу было трудно не согласиться. Но настораживает вот что. «Знатоки» сельского быта, живописуя его трудности, палец о палец не ударят, чтобы как-то скрасить этот быт, ленятся или не умеют проявить даже простое человеческое участие. Поселят молодого агронома к тетке Матрене, у которой одна забота — дюжина поросят, а потом ворчат, что парень трудностей испугался. Дело не в трудностях. Парень просто убедился, что в этом селе он человек пришлый и не очень-то нужный.

В Костенкове специалисты оседают надолго. Во-первых, работать тут интересно: всякую стоящую задумку обязательно поддержат, помогут. И встречают, как добрые хозяева. В пояс не кланяются, не приучены. Зато вот тебе от новой квартиры ключ, продукты можешь получать по себестоимости. Не умеешь сам готовить, милости просим в колхозную столовую: здесь тоже все дешево.

А как удовлетворить неистребимую тягу молодежи к большому искусству, к тем культурным ценностям, которые сосредоточены в городах? До города тридцать верст на машине, не велико расстояние. В местном клубе кино каждый день. Приезжают театральные труппы, концертные бригады. Есть богатейшая библиотека. Газеты, журналы — сам выписывай. Заводи телевизор: в Костенкове тоже можно смотреть московские программы.

И свадьбы с приданым — это строчки из той же песни общей заботы о человеке. Образуется новая семья. Это очень сложно и важно. Маленькая радость может большой стать, обида обернется горем. Как же колхозу мимо пройти? Когда на правлении впервые разговор о приданом зашел, кое-кто засомневался. Как-то на этот фонд общественного потребления разные инстанции глянут? Но «глянули» правильно, с партийных позиций. И на общем собрании голосование было единодушным, без всяких сомнений. Теперь каждая свадьба с колхозным приданым.

— Всем одинаково? — спросил я бухгалтера колхоза.

— В общем-то поровну, но не одинаково. Женится, скажем, парень — плотник и столяр первостатейный. Любо ему молодую жену ввести в дом собственными руками собранный. Сруб мы ему привезли. Потом уж он сам фантазировал. По карнизу, по наличникам такие кружева из дерева сплел, что смотришь — не насмотришься. Или вот птичница наша за шахтера замуж вышла. Ей дом в деревне без надобности. Птичнице колхоз деньгами помог.

— Не жалко добро на сторону отпускать?

— Поперек любви не станешь. К тому же, — бухгалтер улыбнулся с хитринкой, — вернулась вскорости наша птичница в колхоз. И муж ее у нас же слесарем работает.

Много это значит, когда день за днем крепнет в людях вера в родной колхоз, в то, что он никогда не оставит в беде, перед каждым откроет возможности полно и интересно жить в нашем удивительном мире. Примеры тому не надо искать на стороне. В Костенкове эти примеры у каждого перед глазами. Убедительные примеры, очень человечные, впитавшие в себя лучшее из нашей российской доброты, проявляющейся в новом высоком качестве.

Рассказывая об опыте какого-либо хозяйства, мы очень часто все свое внимание сосредоточиваем на организации труда, применении новой техники, использовании различных экономических рычагов. В этом смысле колхоз имени Дмитрова безусловно может одарить любопытными открытиями любого исследователя. Умеют здесь зарабатывать деньги. Но в процессе воспроизводства не меньшее значение имеет искусство их тратить, тратить так, чтобы люди видели, убеждались, что все заработанное ими оборачивается для них же. Очень важно, когда человек с хорошим настроением на работу выходит, когда сын гордится делом отца и готов взять это дело в свои руки.

Колхоз имени Димитрова не похож на идеализированный мирок, в котором жизнь течет, словно молочная река между кисельных берегов. Есть здесь свои сложности и трудности. И здесь понятия «мое» и «наше» не для всех слилось в единое по смыслу органическое целое. Во имя этого еще предстоит много и с умом поработать, научиться видеть за малым хозяйственным упуще-

нием проявление характера, уметь и рубль сделать своим союзником в воспитании самых высоких человеческих качеств.

Рано утром выехали мы с Дегтяренко «глянуть поля». Пшеница уже начала куститься. Смело тянулась к солнцу раздвоенными зелеными язычками хрупкая кукуруза. Все предвещало богатый урожай, и Дегтяренко как должное принимал мои восторги. Потом встретилась эта береза...

Березу сломало ветром и бросило на полосу, пожалуй, еще зимой: лежала она неживая, безлистая. Не очень большая береза: двум мужикам поднять и отнести в сторонку. Но Дегтяренко, как увидел ее, так с лица потемнел и приказал шоферу ехать в полеводческую бригаду.

— Стоит ли из-за пустяка волноваться? — искренне уговаривал я его по дороге.

Дегтяренко ответил сердито:

— На мешок меньше возьмем мы зерна с этой полосы. Уже плохо. Но не только в этом беда. Важно отношение к делу. Почему тракторист и сеяльщик вместо того, чтобы убрать березу, пируэты вокруг нее выписывали? Нет, это не пустяк. Об этом случае на общем собрании будет разговор особый.

Время, люди, время

В. ДЯТЛОВ, М. ЯЛИН

Тайга — город железнодорожников

В самом сердце Сибири — на 3564-м километре от Москвы по Транссибирской магистрали — приветливо встречает электропоезда железнодорожная станция с поэтическим названием Тайга...

...1891 год. Правительственным постановлением было решено начать строительство Великой Сибирской магистрали, которая открывала богатейшие возможности освоения Сибири и Дальнего Востока.

По проекту железная дорога проходила далеко от старинного губернского города Томска. Это диктовалось рядом экономических соображений и природных условий. Но Томская городская дума не могла согласиться с таким решением и стала ходатайствовать о «подсоединении» города к магистрали.

И вот 5 июля 1895 года вышел указ Министерства путей сообщения о строительстве ветки Томск — Тайга. Через 13 месяцев из Томска в Тайгу вышел первый поезд. Так началась история Тайгинского железнодорожного узла. Газеты в то время писали: «Благодаря своему центральному положению станция Тайга имеет весьма важное значение. Здесь происходит пересадка пассажиров, значительная передача грузов, следующих как в Томск из Европейской России и Восточной Сибири, так и из Томска по указанным двум направлениям...»

На земле, принадлежавшей казне, возник поселок. Жители поселка обратились с ходатайством о «преобразовании его в заштатный город с правом полной собственности на землю». И вот 27 января 1911 года «существовавший ранее при станции Тайга Сибирской железной дороги поселок преобразован в безуездный город с наименованием «Тайга» и введением в нем упрощенного городского управления».

* * *

В 1897 году через Тайгу проследовал в шушенскую ссылку Владимир Ильич Ульянов. Это была первая встреча маленькой

сибирской станции с будущим вождем пролетарской революции и первого в мире социалистического государства.

Два года спустя в Тайгу прибывает друг и соратник Ленина — Глеб Максимилианович Кржижановский, который до этого отбывал ссылку по делу «Петербургского союза борьбы за освобождение рабочего класса» неподалеку от села Шушенского.

В Тайге Глеб Максимилианович с 1899 по 1902 (с некоторыми перерывами) работал и занимался революционной деятельностью. Он был одним из создателей тайгинской общественной библиотеки.

«Уже к концу ссылки, — пишет в своих воспоминаниях об этом периоде жизни Глеб Максимилианович, — я через знакомство с товарищами по технологическому институту, которые тем временем превратились в разнообразные «начальства» на только что отстроенной Сибирской дороге, получил возможность перебраться на эту станцию, где я последовательно работал помощником машиниста, машинистом и начальником депо в Нижнеудинске и Тайге, переквалифицировавшись, таким образом, из инженера-химика в инженера-механика.

Само собой разумеется, что железнодорожная жандармерия не оставляла меня в покое. В 1901 году я уже имел право возвращения из Сибири, но на первых порах для меня были исключены все университетские города и крупные рабочие центры.

Отмечу, что в ссылку со мной пошли и сестра моя, и старушка-мать, которая до последнего вздоха оставалась не только матерью, но и верным партийным товарищем, страстной поклонницей Владимира Ильича Ленина.

В последний год пребывания в депо Тайга мне с женой удалось вырваться на краткий срок за границу и навестить Владимира Ильича Ленина в Мюнхене, где он тогда пребывал. Здесь и пришлось ознакомиться со всей группой «Освобождения труда», со всей обстановкой тогдашней партийной борьбы, а главное — наметить с Владимиром Ильичом Лениным мою дальнейшую революционную работу...».

15 ноября 1905 года на страницах большевистской легальной газеты «Новая жизнь» вслед за ленинской статьей «О реорганизации партии» была опубликована заметка из Тайги «К возвращению политических ссыльных». В ней рассказывалось о встрече на станции Тайга политических ссыльных с голландскими рабочими, которые доставляли товары морским путем в устье Енисея, а теперь возвращались на родину.

«Между нашими товарищами и голландскими социал-демократами, — сообщал корреспондент, — сразу же установилась идейная связь, и платформа на станции Тайга огласилась бодрыми звуками импровизированного хора, несколько раз исполнявшего «Интернационал».

...В 1910 году на станции Тайга происходит событие, которое привлекает внимание Владимира Ильича Ленина. Черносотенцы, потопившие в крови рабочих первую русскую революцию, продолжали торжествовать победу. Царский премьер-министр Столыпин совершал поездки по Сибири. С площадки министерского вагона матерый палач революции на станции Тайга произнес речь, смысл которой сводился к тому, что «все обстоит великолепно и потому благополучно».

Ленин разоблачает и высмеивает столыпинскую помпезность и фальшь его «великолепия». В своей статье «Значение переселенческого дела» Владимир Ильич раскрывает реакционную сущность столыпинских реформ и оценивает его речь на станции Тайга, как одну из самых выразительных «картинок поездки в Сибирь Столыпина».

...Каждый тайгинец знает и гордится тем, что здесь в грозный год первой русской революции большую организаторскую работу среди железнодорожников проводил Сергей Миронович Киров. Это он подготовил знаменитый «Ответ тайгинских рабочих монарху». Правда, текст этого боевого документа не сохранился, но о его революционном содержании можно судить по прокламации, выпущенной Томским комитетом РСДРП. Прокламация предупреждала рабочих: «Стоит ослабеть революции, и правительственный произвол разгорится с новой силой... Граждане! Если вы хотите уничтожить многовековое рабство полицейского гнета... не поддавайтесь кровавому обману врага. Не жалкие подачки деспота дадут нам свободу, мы должны сами завоевать ее!».

В скверике перед входом в локомотивное депо стоит монументальная бронзовая скульптура любимого Мироныча. На постаменте высечены слова:

«Киров Сергей Миронович в 1905 году выступал — выращивал большевиков Тайгинского депо».

* * *

Более 60 лет отделяет нас от грозного 1905 года. Сейчас редко найдешь человека, который был бы участником этих событий или хотя бы очевидцем. И тем дороже нам воспоминания тех, кто более полувека назад

участвовал в забастовках, митингах.

...В аккуратненьком домике по улице Щетинкина живет в Тайге уважаемый всеми человек, потомственный железнодорожник, коммунист ленинского призыва — Николай Петрович Потояло. Приехал он в Тайгу еще в прошлом веке — в 1898 году. А с 1900 года в течение сорока пяти лет бессменно работал слесарем в депо.

— Прежде в Тайге домишки были казенные, маленькие, — рассказывает Николай Петрович, — да и депо было маленькое, грязное, неказистое. Работали с факелами, с коптилочками. Строения только начинались, но это там, на той стороне линии. А здесь, где стоит мой домик, был дремучий лес. Школа одна была на станции, а винных лавки — две, церкви — две. А как о производстве подумаю — жуть берет. Я тогда был малолеток, но работал, как все, — с шести утра до половины десятого вечера, это с вечеровкой, старались заработать, ведь платили-то нам гроши. Народ неграмотный был, многого не понимал. Вот только с 1905 года и началось... Особенно помог нам во всем разобраться Сергей Миронович Киров. Он работал в Томске, в организации, но приезжал и в Тайгу, и в Анжерку.

Выступал Сергей Миронович часто. Вот помню, он рассказывал о построении государства. Кто стоит у власти, сколько рабочий зарабатывает, и сколько ему на руки приходится... Рабочие слушали внимательно, муха пролетит — слышно. Как-то доходчиво он все объяснял, проворный сам, коренастый, в студенческой тужурке. Очень приятный и дорогой человек... Еще хорошо помню всеобщую забастовку. Все стояло, мертво все было. Однажды в воскресенье мы пришли в депо, прибрали, опилками пол посыпали. Пришли с семьями, потому как здесь должен был выступать Сергей Миронович. Только он начал говорить — вбегает один наш мастеровой и сообщает, что депо окружили жандармы. И вот двери раскрываются, и врываются с обнаженными шашками. Но Сергея Мироновича товарищи увели, а то бы забрали его.

Сейчас Николаю Петровичу Потояло 85-й год.

— Я ведь на год старше Сергея Мироновича, — говорит он. — Мироныч с 1886 года рождения, а я с 1885...

* * *

14 ноября 1919 года Красная Армия освободила Омск. Колчак бежал на восток. Пытаясь сдержать наступление красных, царский адмирал, кроме своих войск, выставил хваленые польские легионы, поддерживаемые двумя бронепоездами и большим количеством артиллерии.

Участник боев за освобождение Тайги от колчаковцев, старый коммунист Ефрем Митрофанович Прудников вспоминает:

— Много наших товарищей было тогда арестовано. Сидели в Мариинской тюрьме, в Томске. При Колчаке я тоже вместе с товарищами Перегудовым Василием, Митькиным Александром был арестован. Мне удалось бежать. В Юрге я присоединился к частям наступающей Красной Армии и участвовал в боях за взятие города Тайги. Надо сказать, что во время наступления Красной Армии на Тайгу многие рабочие узла приняли участие в боевых действиях. У нас в Тайге была организована дружина, которая ударила в тыл колчаковским войскам. Бой в Тайге продолжался больше восьми часов. День 23 декабря 1919 года навсегда вошел в историю как день освобождения нашего города.

— Но борьба за власть Советов продолжалась, — говорит Ефрем Митрофанович. — Хозяйство депо было разрушено. Осталось всего около десяти паровозов, а надо было перебрасывать грузы, продовольствие, войска, снаряжение. И тогда преимущественно из комсомольцев, из молодежи были организованы бригады по ремонту и восстановлению локомотивов. Мы не знали устали, по суткам не выходили из депо. Война еще шла на западе и на востоке. Помню, из нашей тайгинской комсомольской организации ушли многие добровольцами на врангелевский фронт. Это Кокшаров, Песков, Куликов. А мы — несколько локомотивных бригад — своими силами отремонтировали паровозы и отправились на польский фронт. У нас были надежные документы. И на паровозе было написано, что командируемся в центр России по приказу товарища Ленина. С таким мандатом мы ехали быстро, нас нигде не задерживали до самой Вятки. Потом я попал в Мурманск, где добивали генерала Мамонтова и английских оккупантов.

Вернувшись в родную Тайгу, Ефрем Митрофанович работал помощником машиниста, первым секретарем Тайгинского райкома партии.

* * *

Важную роль сыграли Тайга и ее революционный рабочий класс в годы борьбы с колчаковщиной, в годы первых пятилеток

й в тяжелую годину борьбы с немецко-фашистскими захватчиками.

Среди тайгинских железнодорожников немало передовиков производства, имена которых известны далеко за пределами Западно-Сибирской железной дороги. Это Герой Социалистического Труда — механик путевых машин Тайгинской дистанции пути Степан Ильич Логунцов, кавалеры ордена Ленина — составитель поездов Н. И. Савенков, мастер локомотивного депо Ф. И. Шевченко, поездной диспетчер отделения дороги М. И. Моисеева.

По всей сети железных дорог страны известны замечательные дела тайгинских вагонников, которые за короткое время превратили вагонное депо в образцовое высокомеханизированное индустриальное предприятие.

Пришел...
Увидел...
Рассказал...

И. БАЛИБАЛОВ

Вниз по Томи

Старинное село Ильинское осталось где-то позади, за крутым поворотом. Лодки стремительно неслись по течению, навстречу ветру. На краешке неба теплилась аленькая полоска зари.

Скоро и она погасла. Река потемнела. И в сумрачном небе показался неяркий ковш Большой Медведицы. Каменные выступы, нависшие над водой, одетые в хвойную шубу тайги, начали расплываться в какие-то сказочные громады.

У нас не было ни твердого плана, ни определенного маршрута путешествия. Все трое мы знали только одно — в нашем распоряжении Томь и десять июньских дней. Из этого расчета мы взяли с собой запас продуктов и горючего для моторных лодок. Но Томь оказалась такой доброй и гостеприимной хозяйкой, что треть всех запасов нам не понадобилась.

Лодки скользили по темному широкому плесу. Время было за полночь, и над рекой сгущался туман. Свежело.

Впереди шумел перекат.

Рожденная в вечных снегах Абаканского хребта, Томь несется по каменным ущельям шумным и неуемным потоком навстречу Усе, словно затем, чтобы забежать вперед и перехватить воды Мрас-су и Кондомы, потом развернуться, подсечь отроги Кузнецкого нагорья, вобрать в себя все его потоки и, прорвавшись через створ Салтымаковского и Тарадановского кряжей, выйти в Кузнецкую котловину.

И на этом почти четырехсоткилометровом пути Томи приходится спускаться по длинным и извилистым каменным террасам, размывать и подтачивать крепкие базальты, преодолевать осыпи и лесные заломы.

Оттого, видно, река никогда не бывает спокойной и вечно бурлит, бесится на своих многочисленных перекатах. Даже бывалые люди, прожившие весь век на берегах Томи, побаиваются ее строптивого нрава.

Я вспомнил случай с Петром Алексеевичем Кропоткиным, выдающимся русским исследователем Сибири. Будучи адъютантом Иркутского генерал-губернатора, он был послан курьером в Петербург с весьма срочным донесением. В хмурый осенний день он подскакал к переправе на Томи и потребовал, чтобы его немедленно перевезли на другой берег. Но никто не решался. После долгих уговоров ему в конце концов удалось найти смельчаков, которые, однако, потребовали расписку, в коей было бы сказано, что нижеподписавшийся «утонул по воле божьей, а не по вине крестьянской».

Мы не спешили и поэтому единодушно

приняли решение: пристать к берегу и переночевать прямо в лодках. Да, по сути говоря, другого выхода и не было: предрассветная темь, казалось, закупорила нас в непроницаемую бочку.

На веслах кое-как выбрались на отмель, затащили лодки в густую осоку и, приловчившись как кто сумел, улеглись на отдых. Проснулись, когда над прибрежными кустами рассеивался редкий туман.

Стоянка наша оказалась настоящим утиным царством — мелкая заболоченная заводь с торфяными кочками, густой осокой и мелкими шапками кустарников. Хорошо, что мы не стали искать здесь берега — влезли бы в трясину... И ни за что не догадались бы, что река у нас осталась справа за спиной. Для того, чтобы попасть в русло, нам пришлось развернуться, подойти к самой кромке песчаного выступа, покрытого густым ивняком, обогнуть его и через узкую протоку выйти на стрежень.

Над далекой кромкой Кузнецкого нагорья поднималось солнце.

Томь текла по широкой пойме. Левый берег приподнят и часто желтел высокими террасами, а правый, совсем отлогий, зеленел густой болотной травой. Единственным украшением были острова с зарослями черемухи и калины.

Мы торопились попасть в устье Верхней Терси, где намеревались отведать кузбасской форели — хариусов, которыми славится эта горная речка.

Дочь черневой тайги, Верхняя Терсь, берет свое начало на северных склонах Большого Каныма. Хотя она и короче Средней и Нижней Терси — всего 83 километра — зато в нижнем течении спокойнее.

Однако на Верхней Терси нас ждала неудача. Весна выдалась сухой, и все горные речки к концу июня успели сбросить вешние воды и почти высушили свои каменные перекаты. Устье реки оказалось заваленным толстыми сутунками пихтача и лиственниц, и нам пришлось отказаться от своей затеи.

Средняя Терсь тоже не порадовала нас. Устье все в зарослях тальника. Река показалась мелкой, скучной, и мы решили спускаться вниз по Томи, которая, петляя по зеленому ковру поймы, все ближе и ближе прижималась к зубчатой стене синего пихтача, глядевшего острыми вершинами в чистое небо. Солнце припекало, и теплый воздух, пропитанный густым настоем цветущего разнотравья, дышал в лицо. И чем плотнее Томь прижималась к левобережным крутоярам, тем сильнее нарастало ощущение тесноты. Я невольно насторожился и ждал: вот-вот сейчас сопки расступятся, и лодки вырвутся на речной простор, откроется что-то невиданное и величественное, ошеломит воображение. Видимо, вот в этом ощущении и кроется вся притягательная сила тайги.

Впереди показался высокий синий гребень. Крутой перекат упирался в его подножие, но под скальным навесом река неожиданно повернула вправо, и перед нами вырос Усть-Нарык — поселок лесорубов. Это было первое селение на нашем пути. Десятка два пятистенников под тесовыми крышами стояли на приподнятом берегу с косым песчаным откосом, где чернели деревянные лотки. Они напоминали те незамысловатые сооружения, при помощи которых старатели добывали на берегах Томи золото. Здесь же лотки стояли у родников.

Дальше Томь цепочкой узких островков разделяется на два рукава и спускается навстречу крутолобым увалам, покрытым густым хвойным лесом.

Остановились на маленьком песчаном островке. Посреди его, на узкой гривке, было разбросано десятка три кустов ивняка, обвешанного сухим плавником. Между кустов, в колдобинах, валялось много просохших корневищ и бревешек. Нижний конец островка обрывался высоким откосом желтого мелкозернистого песка... Причал оказался великолепным. Шагах в двадцати от него мы поставили палатку и соорудили навес, который по идее должен был служить нам местом дневного отдыха. Да уж какой там отдых!

День выдался на редкость тихим, стаи белокрылых бабочек кружились над рекой и лепились на влажный песок возле самой кромки воды. Солнце стояло в зените, и на горячих гальках, как нам казалось, можно было печь блины.

Закусив на ходу, мои спутники бросились в воду, а меня потянула высокая, густая роща за широкой протокой, напротив нашего островка. Издали она казалась молодой посадкой стройного тополь ника, какие изредка встречаются на берегах Томи. Однако мои предположения не оправдались — зеленая лиственная стенка оказалась всего лишь густыми зарослями тонкого ивняка, где каждая третья лозинка годилась на удилище.

Запасшись удилищами, я вернулся в лагерь. Жара спадала. Мои спутники занимались каждый своим делом: Василий Васильевич сидел под навесом и производил строгую ревизию своего немудреного хозяйства — перематывал жилки, крепил крючки и грузила на закидушках. Петр Леонтьевич, возведенный нами в ранг «капитана»,

бродил по протоке с удочкой и охотился на пескарей. Он мечтал поймать «таймешку», и пескари были нужны ему для наживки.

На закате мои спутники спустились на плес ставить закидушки на ночь, а я развел костер и принялся варить уху из тех ершей и окунишек, которых «капитан» успел «набросать» во время своей охоты за живцами.

Первая наша уха, хотя и казалась всем вкусной, была жидковатой и ненаваристой. Зато утром... В металлическом садке «капитана» среди щук, окуней и налимов сверкали серебряными слитками два красноперых язя. Кроме этого, набралось с полведра ершей, щурят, окунишек и ельцов.

Нет, не такая уж пустынная наша красавица Томь, как это кажется, когда бродишь по Притомской набережной и смотришь на мальчишек, занятых охотой на юрких пескарей.

А многие ли знают, откуда пошло название этой реки?

Когда-то Кузнецкую котловину населяли кеты, делившиеся на четыре ветви — коттов, аринов, пуппокольцев и ассанов. Кеты — это предки остяков, живших в низовье Енисея. Пуппокольцы называли нашу реку «то-о-о-ом», что по-русски означало — большая река.

В начале первого тысячелетия в Кузнецкую котловину пришли тюркские племена. Они оттеснили кетов с берегов реки, но название переняли и стали произносить на своем наречии — Томсу — Том. И первые русские поселенцы также усвоили произношение: — Том, Тома, и лишь в конце девятнадцатого века стали ее называть Томь.

О древнем происхождении этого географического термина свидетельствует и тот факт, что на территории Кузбасса и поныне существуют названия рек: Кузьма-Томь, Тома, Томка, Катома — приток Яи, Томь-Чумыш.

В этот тихий ясный день плес казался горным озером с глубоким голубым дном. С каменных круч правобережья разлапистые сосны и пышные кусты рябины с задумчивой сосредоточенностью глядели в изумрудно-зеленую воду. Плес отделялся от протоки узкими островами, окаймленными густыми кустами смородины и калины, перевитыми буйным хмелем. Левый берег протоки начинался камышовыми зарослями. В заводях, устланных лопухами, белели кувшинки. Рыбачить бы здесь и рыбачить. Но нам не сиделось на месте. Впереди было еще две с лишним сотни километров пути, и мы двинулись навстречу новым впечатлениям.

Между Средней и Нижней Терсью — черневая тайга. Короткие плесы сменяются длинными перекатами. По обоим берегам смешанный лес. Белоногие березки здесь прячутся по низинкам, зато пихты и островерхие ели стоят плотной, непроницаемой стеной. Соснам они уступают место лишь на выступах каменных круч.

...Я сижу на носу лодки, подставляя лицо свежему ветерку, стараюсь угадывать фарватер. Однако мне это не всегда удается. Заглядишься... и лодка врезается в отмель.

Да и как тут не заглядеться! То покажется высокий обрыв с черными полосами углистого сланца — непременного спутника каменного угля, то сливень — вода с двухметровой высоты падает на каменное дно русла. И как можно проехать равнодушно мимо сопки, когда на ней, величественно распластав крылья, парят орлы...

За орлиной сопкой вскоре показывается другая. На лысой ее вершине бревенчатые дома с прямоугольниками огородов, обнесенных жердями. На синем фоне тайги сопка кажется большой ковригой, а деревушка так и называется «Коврижка». Чуть ниже деревушки Томь широким рукавом огибает песчаный остров. Этот рукав зовется Ярыгинской протокой. Мы спускаемся по руслу. Обрывистый берег острова неприступен. Заходим в устье протоки. Справа высокая скала. С ее каменистого гребня начинается сосновый бор, протянувшийся вплоть до грядки гор, окаймляющих с востока просторную пойму. Обращенный к протоке скат с редкими соснами, кустами боярки и зарослями высокого белоголовника напоминает парк — такое это тихое и уютное местечко. Толстые плиты серого песчаника выстилают отлогий берег.

Протока круто отворачивает от бора и сливается с широкой курьей, густо заросшей кувшинками. Курья — это царство окуней, язей и другой рыбы.

Но самое привлекательное место здесь — песчаный остров, заслоненный от северных ветров высокой стеной соснового бора и отгороженный от Томи непроницаемым поясом зарослей. Песчаный откос, протянувшийся по кромке воды, — пожалуй, самое укромное и солнечное место на Томи.

Протока, видимо, называется «Ярыгинской» — от слова «ярыга», что значит — беглый, бездомный человек, живущий, как говорили в старину, «чем бог послал». А на этом месте «бог посылал» им рыбу и ягоды, грибы и саранки, кедровые орехи и разнообразную дичь. Да и хлеб они могли доставать. Ведь Томь еще в начале нынешнего века была единственным торговым путем

из бассейна Оби в Кузнецкий Алатау, где мыли тогда золото и добывали большое количество пушнины — соболей, лисиц, белки. По реке все лето ходили пароходы вплоть до Кузнецка.

Палатку мы раскинули в излучине протоки.

Утром, когда «капитан» с Василием Васильевичем отправились снимать жерлицы в устье кури, я взял удочку и присел на бревно. Из-за круч поднималось солнце, и прибрежные кусты отбрасывали тень на середину протоки. Поплавок лежал на воде и не подавал признаков жизни. Я уже начинал терять терпение. И вдруг справа раздался сильный всплеск, словно кто-то бросил в реку здоровенный камень.

Бросив удочку, я принялся разматывать закидушку. До этого мне не приходилось забрасывать двадцатипятиметровую жилку с пятью крючками. После усиленной тренировки кое-как забросил крючки на середину плеса. Но одной закидушки мне показалось мало. За первой забросил вторую, потом третью... четвертую, пятую. Опыта у меня не было, и на каждую закидушку я затрачивал по меньшей мере десять-пятнадцать минут. Только часа через полтора я вернулся на прежнее место. Смотрю — жилка первой закидушки натянута как струна и смещена под самый берег.

«Ага, что-то есть», — обрадовался я и начал потихоньку выбирать конец. Чувствую, сопротивление моим усилиям нарастает. Теперь главное тянуть ровно и не давать рыбе ослабить лесу — сорвется...

И не знаю, вытянул бы я один или нет, но тут подоспел «капитан». Сачком он подхватил щуку и ловко выбросил на берег. Щука оказалась самой крупной из всего нашего улова.

Польщенный успехом, я кинулся к другим закидушкам. Но увы! Ерши дружно атаковали все мои закидушки. Они так глубоко заглатывали крючки, что пришлось доставать перочинный нож. Забросил закидушки второй раз — снова ерши, забросил в третий — опять они. Чтоб вас щуки поели!..

Вспомнил про озерко. Лесосплавщики утверждали, что оно рядом, за кустами. Там водятся караси...

— Что ж, давай сходим, — согласился Василий Васильевич, — только поищем крапивник и накопаем червей.

В сырое лето черви на Томи не проблема. Их можно накопать в затененных местах на любом заливном месте. В засуху же они уходят из верхнего слоя почвы, и тогда отыскать их почти невозможно. Дольше всего черви держатся в корнях жгучей крапивы, под тонкой корочкой ила в сыром суглинке. Но и крапива не растет где попало, а подчас выбирает такие места, переплетенные зарослями шиповника, смородины и жимолости, что без топора к ним и не подступишься.

— Махнем напрямик, — предложил я, — может быть, нападем на крапивник.

— Вряд ли, — покачал головой Василий Васильевич, — слишком высокий откос. А впрочем, если хочешь, пойдем. Мне все равно.

Бывалые таежники всегда придерживаются золотого правила: никогда не искать короткого пути, а искать следа. Но я вспомнил об этом правиле лишь тогда, когда, пытаясь перейти ложок по стволу упавшей талины, очутился на дне глубокой промоины, прикрытой сверху сухим борщевником и разным речным хламом. С трудом выбравшись на косогор, я очутился между кустов черемухи, перевитых буйным хмелем. Солнце стояло в зените, и горячий неподвижный воздух спирал дыхание.

Прокладывая себе дорогу лопатой, выбрались на кромку болота, где торчали редкие старые березы с высохшими вершинами. Торфяные кочки с шапками острой осоки, вязкая грязь, покрытая тонким слоем ржавой воды, преградили нам путь. Смешно было подумать, но мы заблудились.

Озеро оказалось позади нас, за густым тальником. С болотом оно соединялось узкой канавой. Однако подойти к нему со стороны болота было невозможно. И нам пришлось долго прыгать с кочки на кочку, пока наконец, мы вышли на берег...

Озерко было совсем маленькое — шагов двадцать в ширину и шагов двести в длину. Сплошь покрытое кувшинками, озерко очаровало нас прозрачной водой и покоем. На полутораметровой глубине было хорошо видно, как плавали стайки молоди, а щучата дремали в теплой воде так близко от бережка, что мы попытались ловить их руками. Мне хотелось поймать хоть одного карася. Но сколько я ни забрасывал удочку — даже гольяны, и те не притрагивались к червяку.

Единственной хозяйкой этого тихого уголка была серая утка со своим многочисленным семейством. Зорко поглядывая на нас, она плавала у противоположного берега, а желтые пушистые комочки беззаботно кружились вокруг нее в поисках вкусного корма.

Полюбовавшись игрой утят, мы по старой тропке пошли к сосновому бору и на берегу протоки открыли такой крапивник, что по-

том кое-как из него выбрались. Зато червей накопали полный мешочек.

Когда мы вернулись к палатке, жара уже спала и наш «капитан», сверкая бронзовой спиной, стоял на отмели и махал удочкой. Поймав десятка полтора пескарей, «капитан» с Василием Васильевичем отправились в курью ставить закидушки, а я принялся готовить ужин.

Пока я неторопливо занимался поварским делом, солнце скатилось за Томь и вечерняя тишина наполнилась тонким и нудным комариным звоном. Днем между нами не возникало конфликтов, но в сумерки комары дружно переходили в атаку и преследовали нас до самой полуночи. Они не очень уважительно относились к аптечным средствам, которыми мы обильно смачивали лицо, руки и шею. Вдыхая самый противопоказанный, по мнению изобретателей жидкости, анисовый аромат, комары с наслаждением погружали свои длинные хоботки в наши шеи и упорно дожидались здоровенного шлепка...

В самые длинные и жаркие дни, когда испарение влаги достигает наивысшего предела, воздух плотно насыщается водяными парами и в тихие вечера берега Томи озаряются мягким малиновым светом.

Любуясь причудливой игрой предзакатного солнца, я поймал себя на мысли, что многие и многие из нас, сибиряков, не умеют найти минуту досуга, чтобы разглядеть природу родного края, почувствовать ее неповторимую и своеобразную прелесть. Как много иной раз мы тратим времени и средств, чтобы полежать на жарком сочинском песке или побродить по исхоженным горам юга, и не видим, не ценим того, что находится у нас под боком.

И еще одна мысль запала мне в голову: если бы меня спросили, где лучше всего построить дом отдыха на Томи, я бы не задумываясь ответил: постройте его в сосновом бору Ярыгинской протоки.

Утром «капитан» вернулся из курьи хмурым. Бросив трепещущих окуней в садок, он решительно заявил:

— Хватит! Поехали на Тайдон!

Мы отлично понимали настроение «капитана» и сочувствовали ему.

С давних пор среди старожилов нашего края Тайдон славился хариусами и таймешями. Берущий свое начало в недоступных снежниках Большого Таскыла, открытого северным ветрам, Тайдон стремительно несется на юг до самого подножия Салтымаковского увала. Здесь буйный Тайдон круто поворачивает на запад и, преодолевая крутые пороги, вливается в Томь.

Чтобы попасть из Ярыгинской протоки на Тайдон, нам предстояло спуститься по Томи сотню километров.

Едва мы выбрались из протоки на широкий плес, как над тайгой показались белые всклокоченные тучки, предвестники перемены погоды. С севера потянул холодный ветерок, взъерошил воду и погнал волну.

После полуторачасового пути впереди показался высокий гребешок леса. Это был Салтымаковский увал. Издали казалось, что горбы увала поднимаются из низины и наглухо закрывают дорогу реке. Но нет. Томь начала суживаться и уклоняться влево по каменному руслу меж крутых берегов. Пожалуй, нигде нет более узкого русла и столь быстрого течения, чем в проране Салтымаковского увала. И не случайно этот проран называют Бычьим Горлом.

Вход в Бычье Горло мы ощутили сразу. Ветер засвистел в ушах, и лодка, словно резиновый мячик, запрыгала по гребням почти неподвижных волн. Держась за борта, я чувствовал себя человеком, которого стаскивают за ноги по бетонным ступенькам крутой лестницы. Водяная пыль слепила глаза и заставляла ежиться от непривычного душа.

Лодка продолжала бухать по гребням волн. Поджав ноги и упираясь обеими руками в сиденье, я приподнимался на взлете и этим избегал прямого удара. Руки немели от напряжения. Наконец, ветер начал слабеть, волны перешли в мягкую зыбь, берега расступились, и на реке снова показались песчаные отмели. Я оглянулся. Увал теперь открывался крутыми склонами, покрытыми редколесьем. В глубоких складках виднелись белые пятна.

— Смотрите, снег!

Василий Васильевич долго глядел на увал и удивленно пожимал плечами. Ему казалось маловероятным, чтобы на открытом склоне мог удержаться снег до середины лета.

— Пожалуй, это не снег, а скорее ромашки.

— Столько ромашек? Что-то непохоже. Вот разве белоголовник!

— Ковыль, — догадался Василий Васильевич, направляя лодку в узкую протоку переката.

...За Салтымаковом Томь начинает врезаться в Тарадановский увал и, словно потеряв надежду прорваться сквозь гранитные громады, снова поворачивает на север, течет в этом направлении до встречи с Тайдоном. Устье его отгорожено от русла

Томи длинным отражателем, спущенным на воду с острого носа песчаного мыса, заваленного бревнами. К этому носу мы и причалили, привязали лодки к бревнам. Более удобного места здесь не было.

Недаром древние жители назвали этот таежный приток холодной рекой. Тайдон встретил нас таким северным ветром, что нам пришлось вспомнить не только про куртки, но и доставать полушубки, служившие нам постелью.

Время было за полдень, и мы надеялись, что ветер уймется и можно будет поставить закидушки. С этой надеждой мы и принялись ловить живцов. Однако ветер усиливался, волны захлестывали отражатель. Под мысом в русле Томи делать было нечего, и я перешел в устье Тайдона. Передо мной был небольшой омуток с прозрачной зеленоватой водой. Рядом, под навесом густого ивняка побулькивал перекат. Омуток был совсем неглубокий, с чистым песчаным дном и не будил воображения. Но дальше по берегу идти было некуда — мешали кусты, и я закинул удочку. Не успел я присесть, как поплавок заплясал и пошел на дно.

Я вытащил толстого ерша длиною с карандаш. Нет! Довольно с меня, от ярыгинских ершей руки еще не зажили. Бросил удочку на песок и вскарабкался на мыс.

И тут только я понял, почему все уважающие себя рыбаки мечтают о Тайдоне, выдумывают о нем легенды. Пожалуй, нет больше на Томи столь просторной заводи, как древнее русло Тайдона, заслоненное с севера высокой стеной соснового бора. Заводь примыкает к правому рукаву Томи, огибающему длинный остров, прорезанный глубокими протоками. А какие песчаные отмели на островах! А плесы! Одним словом, есть где и закидушки забросить и помахать спиннингом.

Вечерело. Погода все более и более портилась. По реке гуляли белые барашки. Ветер пронизывал до костей. Нужно было искать место для ночлега, и мы, оттолкнувшись от мыса, обошли по стержню отражатель и выбрались на берег тихой заводи.

На пригорке в густой траве поставили палатку, при свете костра поужинали и легли спать.

Проснулись на зорьке, ветер рябил реку. Дожидаться теплой погоды у нас уже не было времени. И мы решили спускаться вниз.

Покидал я Тайдон с сожалением. Думалось, не встретишь больше столь дивного уголка природы. Мне казалось — Томь сейчас вырвется из лабиринта тайги и утратит свое очарование. Но я ошибся и на этот раз.

Томь, приняв последний таежный приток — Черную Осиповку, резко повернула на запад, и мы снова очутились в зеленом море тайги. Смешанный лес с луговыми полями и высокими Таскылами придавал новое и неповторимое своеобразие здешнему пейзажу, вызывающему ощущение обжитости и близости степного простора.

...Крапивино — это первое старинное село, раскинувшееся на месте бывшего казачьего острожка «Мунгат». Когда спускаешься по Томи, то издали кажется, что крыши села перегораживают русло и река круто отклоняется вправо.

Вырвавшись на степной простор, Томь, становится привлекательной лишь островами с обилием солнца, песчаных откосов для купания. На одном из таких островков, где-то возле деревни Ивановки, мы и провели последний день своего отдыха...

В дневнике русского певца природы Михаила Пришвина встречаются такие строки: «Природа, как и жизнь, не поддается логическому определению, и спросите любого, что он понимает в слове природа, никто не даст всеохватывающего определения: одному это дрова и стройматериалы, другому — цветы и пенье птиц, третьему — небо, четвертому — воздух, и так без конца. В то же время каждый из этих потребителей знает, что это не все».

Да, природа — это жизнь. Спуститесь по Томи на моторке или на плоту, и вы обретете второе дыхание, вторую молодость.

И. ЗЫКОВ

Дневник скворчиной семьи

Весенняя новелла

Наш многоэтажный дом одной стороной обращен к полю. Из окон, кроме поля, виден невдалеке небольшой лесок, где весной и летом держится много разных птиц.

И, наверное, потому, что наша улица крайняя в этой части города, каждой весной на проводах перед нашим домом останавливаются стайки скворцов, летящих с зимовок. Мы видим, как они отдыхают и подкармливаются на оттаявшем поле. А дня через три-четыре отправляются куда-то дальше.

Некоторые скворцы останавливаются здесь, видимо, по привычке. Ведь всего лет пять-шесть назад на месте наших домов был лес, и, конечно, птицы в нем гнездовали. А птицы запоминают места рождения.

И вот мы (Витька-третьеклассник и я) договорились весною поставить на балконах скворечники. Здорово будет, если в них поселятся скворцы! К нам присоединились двое молодых рабочих, и на четырех балконах в марте появились птичьи домики. Добро пожаловать, пернатые путешественники!

А у себя я поставил два домика, чтоб испытать, поселятся ли две пары рядышком. И вот мы стали следить за прилетом этих милых и полезных птиц, славщиков весны. Так начался этот дневник.

2 апреля. Газеты сообщили, что в некоторых селениях нашего края скворцы появились уже 22 марта. Рановато прилетели, видимо, не так далеко зимовали. В нашем городе скворцы были замечены 30 марта. А я своими глазами увидел их только сегодня, когда ходил в поле смотреть приближение весны. Птичек было меньше десятка, они держались на свалке вместе с воробьями. На поле еще снег. Беднягам холодно и голодно. Но птицы бодры. Ну, как не бодриться, ведь прилетели на родину.

10 апреля. За минувшие дни скворцов появилось больше. Они летают небольшими стайками, сидят на проводах, но к скворечникам даже не подлетают. И понятно: дни стоят еще холодные, иногда падает снег. Какое уж гнездование! Сегодня я ходил в лесок и заметил, что скворцы ночуют там, а кормятся на оттаявших местах поля.

15 апреля. Затеплело. И солнце проглядывает, и ветер теплый. Ура, сегодня к домикам подлетели два скворца. Они оживленно щебетали, о чем-то переговариваясь между собою, поочередно залезали в тот и другой домик. Потом рядышком сидели на оградке балкона и теперь уж щебетали негромко, наверно, обсуждали, который домик занять.

А я, в свою очередь, думаю: останутся ли? Ведь балкон, совсем рядом люди. Кроме того, шумят автомашины, часто пробегающие перед самым домом. Очень, очень шумно...

16 апреля. Тепло. С окраины поля слышны голоса жаворонков. Весна подходит! Итак, вчерашние прижились! Домик выбрали побольше. Прилетают, улетают, сидят то на домике, то на перилах балкона. Скворчиха чуть поменьше, изящнее и, пожалуй, посветлее, значит, помоложе своего друга. И голос ее нежнее, мягче.

Присмотрелся я: птицы довольно круп-

ные и не случайно, что в небольших скворечниках они не селятся. Дно домика должно быть 16 на 16 сантиметров, а леток в диаметре не меньше 5 сантиметров.

В середине дня скворчиха прилетела с сухими травками в клюве. Значит, надумала делать гнездо. Я оставлял в домике мелкие стружки, клочки ваты, полагая, что пригодится для гнезда. Целый день все это они выбрасывали и делали гнездо только из того материала, который приносили сами.

Мы на весь день опускаем занавеси на окнах, иначе птицы, видя нас хотя и за стеклом, но так близко — волнуются, тревожно кричат. Но занавеси прозрачны, и мы все хорошо видим. А птицы занимаются своими делами.

Уже на трех балконах нашего дома поселились пернатые гости. Витька очень огорчен, что у него не поселились и, сопя от негодования, взялся перестанавливать домик.

17 апреля. Наши продолжают строить гнездо. Сегодня ко мне закатилась толпа мальчишек разных возрастов, чтоб сообщить, что и у Витьки поселились скворцы. Значит, старание не пропало даром. Несколько мальчишек занято поисками досок, чтоб сделать скворечники. «Но прилетят ли еще?» — переживают они. Я их успокоил: скворцы прилетают с зимовок не все сразу, так как зимуют в разных местах. Но тянуть с домиками не надо.

18 апреля. Сегодня под вечер был скворчиный концерт. Начал его Витькин скворец, а затем включились и другие. Ну и пели! Слыхали ли вы пение скворца рядом с собою? Трелей, «коленец», может быть, и не так много, но интонаций, переливов, а главное — чувства сколько! Какая-то очень уж радостная песня, песня жизни и любви. Нет, не зря славщиком весны считают именно скворца...

20 апреля. Сегодня на проводах появилась стайка скворцов, очевидно, только что прилетевших с зимовки. Они сразу же бросились к занятым скворечникам. Наши охраняли оба скворечника и новых квартирантов ни-ни. Вот было галдежу и верещания!

Чтоб не было склоки и в дальнейшем, я вечером снял второй домик. Теперь я убедился, что скворцы не любят селиться близко пара к паре, это не грачи. Гнезда у скворцов закрытые, коллективная охрана их от хищников не нужна, а густое гнездовье может вызвать трудности в добыче корма.

22 апреля. Прилетные полетели дальше. Наши усиленно строят гнездо. Раза два они отдыхали рядышком и, похоже, разговаривали между собою:

— Теперь, милая, можно успокоиться.

— Да, кажется, уже все пролетели.

— А как у тебя с гнездом?

— Принеси немного мягких сухих травинок, и я сегодня доделаю. Уже пора.

Я видел, как они нежничали, полетели вместе бок о бок, посидели на проводах, затем рядышком ходили по земле. Принесли мягких травинок. А затем, уже вечером, он улетел в лесок, а она осталась в домике.

24 апреля. День солнечный. Она не вылетает из домика, видимо, начала насиживать. А он сидел поблизости от нее, на перилах балкона и распевал, чтоб доставить ей удовольствие. С каким он чувством пел! Хлопал крылышками, надувался, повертывал головку туда-сюда, даже иногда подпрыгивал, когда приходилось брать трудную ноту. И многие слушали его: и наша семья, и соседи, и проходящие.

27 апреля. Скворчиха насиживает. Летает он один. Иногда недолго поет. Ночевать улетает в лесок.

30 апреля. С утра до вечера он летает и приносит ей корм. Иногда сидит на оградке и прихорашивается. Перья у него черные-черные, немного с зеленым отливом. Кормит он ее, кажется, хорошо, часто. И каждый раз с кормом залетает в домик, чтоб она не поднималась и не остудила бы яйца. Передав корм, он немного отдыхает на оградке и подает ей голос:

— Трр-лию-трр-лию-чу-чи-чу-чи-фью-фью-фийююю!

И опять летит за кормом. А она высиживает птенцов.

5 мая. Погода неустойчивая, дни то теплые, то с прохладцей, а ночи уж совсем прохладные, бывают и нулевой температуры. Раза два я заметил, что скворчиха вылетала из домика, но, правда, на короткое время, а скворец заменял ее на гнезде, чтоб не остыли яйца. Вот какая забота о потомстве!

14 мая. Вывелись птенцы! Мы об этом сразу же догадались. У домика поднялась суета. Начали летать оба родителя. Но летают попеременно, другой обязательно находится в домике. Как только один из них прилетает с кормом, то перед летком издает резкий крик, и другой сразу же вылетает, освобождает место. Очевидно, прилетевший с кормом, не только кормит, но и согревает птенцов, пока не прилетит второй. Птенцы голенькие, а погода не балует теплом. Мы усмотрели, что они приносят: дождевых червей, личинок, жучков разных размеров, бабочек-крапивниц.

16 мая. Сегодня птенцы запищали, но писк еще слабенький, тонюсенький. Родители ухаживают так: один летит, другой кормит и греет. Подсчитал вылеты: с 9 до 10 утра их было 8; потом началась пыльная буря, и вылетов за час было только 5. К вечеру буря закончилась, и с 17 до 18 часов вылетов было уже 15. Правда, наблюдал я за птицами лишь в отдельные часы.

Совершенно явно, что скворчиха ночует в домике, а он летит ночевать в лесок. Тут уж право матери. Она и порядок в домике наводит, сама выносит птенчьи нечистоты.

20 мая. Малыши с каждым днем кричат громче и настойчивее. И уже можно различить, что одни кричат грубее, другие мягче, явно — в семье есть мальчики и девочки. Аппетит у них отменный, родители летают с утра до вечера, несмотря на погоду. И кормят, кормят. Сегодня с 10 до 11 утра вылетов было 24. Птицы летали недалеко, на пустошку, где появилась обильная свежая трава, а в ней множество насекомых. Потом задождило. И хоть поливает дождь, а лететь надо. Птенцы пищат: «Есть хотим!» Птицы-родители, прилетая с кормом, встряхиваются перед летком от дождевых капель, чтоб не замочить и не застудить своих малышей.

А вечером она скажет ему на прощание:

— Смотри, завтра не опоздай, а то птенчики проголодаются.

А он смиренно ответит:

— Что ты, милая, разве я могу опоздать. Спокойно ли спят наши малыши? Ну, будь здорова, это главное.

Скворцы живут неразлучной парой и, судя по всему, очень согласно. Никогда не ссорятся.

21 мая. Действительно, он рано утром прилетел с кормом, и оба они в полете еще с зарей. Любовь к детям, забота о них — это любовь к жизни. Без детей не будет и жизни. И птицы летают, летают...

25 мая. Сегодня с 8 до 9 утра было 44 вылета! Подумать только! И в каждый вылет родители приносят корм, словно в домике сидит ватага обжор. А ведь там самое большое пять маленьких птенцов. Вот уж аппетит, вот растут! И что новое: родители, прилетев с кормом, уже не задерживаются в домике, скворец только засовывает туда голову, сунет в раскрытые клювы червяка или букашку и сразу же улетает. Только мамаша залетает в домик, наверное, старается распределить корм так, чтоб досталось всем, а не одному хапунишке.

27 мая. Скворчата не только голосят, но начинают высовывать головки из летка навстречу старшим. А голосят настойчиво и хором.

Скворец делает свое дело обычно молчаливо, а скворчиха, подлетая к домику, всегда щебечет. Возможно, говорит своим повзрослевшим деткам:

— Спокойнее, дети, спокойнее! Всем хватит. Мальчики, не обижайте девочек! Да что вы так кричите, не можем же мы с отцом разорваться! Тише, тише, вот уж отец подлетает.

30 мая. Сегодня в скворчиной семье большое событие: скворчата вылетели из гнезда! А получилось это так: день разгулялся светлый, теплый, без ветра, одно слово — майский. В полдень на балконе вдруг раздались громкие крики скворцов. И мы увидели: взрослые птицы бегали по оградке и во весь голос призывно кричали, а скворчиха к тому же все время размахивала крылышками, словно показывала, что нужно делать:

— Вылезайте из домика и летите, детки! Смелее, смелее, вы теперь уже большие! Вылезайте, машите крылышками и летите к нам!

И к ним выпрыгнул из летка один, минуты через две — другой и за ним третий. Молодые, распустив крылья, сначала опустились на пол балкона, а затем взлетели на ограду и сели рядом с отцом.

Но, видимо, вылетели не все, скворчиха продолжала волноваться и бегать по оградке с раскрытыми крылышками, а затем нырнула в домик и вытолкнула оттуда еще одного птенца. Все птенцы были уже вполне оперившиеся, но еще с серыми пятнами на перьях и с желтизной у самого основания клюва. Как говорится, — желторотенькие.

Итак, птенцы росли 17 суток.

Немного посидев на оградке, они всей семьей перелетели на тополь почти рядом с балконом.

Птицы продолжали громко и настойчиво щебетать. Чего же они не улетают и кричат? Я вышел на балкон и увидел на полу скворчонка. Вот кого звали скворцы! Этот, оставшийся, прижался к ящику и даже не пищал, никак не откликался своим.

Как только я появился на балконе, скворцы поднялись с тополя и полетели к леску. Тогда я взял оставшегося в руки. Батюшки, какой он был худосочный, слабый! Перья, крылышки развились, как следует, но худой, в чем только душа держится. Значит, это его мамаша вытолкнула из домика, чтобы он летел. Но, увы, у него не было на это сил. Ясно, что он был слабее всех в гнезде, при кормежках ему доста-

лось меньше других, и вот результат.

Что с ним делать? Пустить с балкона — разобьется; оставить без внимания — наверняка попадет в хищное брюхо. Я пока что положил его обратно в скворечник.

Только мы начали обсуждать, что делать, ибо скворченок без еды навряд ли выживет до утра, и вдруг услышали на балконе громкое щебетание. Мы бросились к окнам. На оградке сидела скворчиха-мать.

Убедившись, что птенец в домике, она улетела и через несколько минут явилась с червяком в клюве. Малыш, наверное, был такой слабенький, что у него не хватило сил подскочить навстречу матери, и мамаша сама залетела в домик. И до заката солнца еще раз пять прилетала с кормом. Но осталась ли ночевать в домике, нам не удалось установить. А стучать в стенку домика — при стуке она вылетела бы — мы не стали, чтоб не отгонять мамашу совсем. Уж так мы были рады, что она вернулась.

31 мая. Сегодня утром скворчиха прилетела к домику уже не одна, а со скворцом-папой. И теперь они вдвоем стали подкармливать слабенького птенца. И летали за кормом так же энергично, как и тогда, когда кормили весь выводок. Ну, такая обильная кормежка сказалась: птенец скоро начал подавать голос и такой тоненький, жалобный, что мы все согласно решили, что это была девчушка. Мы так и стали называть птенца — девчушкой.

1 июня. Я ходил в лесок. Там множество скворчиных выводков и такой галдеж стоит, что издалека слышно. Галдят молодые, а старые их подкармливают, но, кажется, уже не особенно соблюдая родственность. К тому же молодые быстро научаются самостоятельно кормиться.

Кормежка девчушки продолжается. Кормят оба. Известно, что лосиха, медведица, волчица, лисица, если у нее возьмут детей, старается их найти, ищет, находит. За птицами не признается столь тонкое чувство к птенцам... А вот как объяснять этот случай?

Оказывается, молодые скворцы доставляют заботу и другим любителям природы. Сегодня до нас донесся вопль Витьки:

— Эй, не трогай скворчонка, это мой скворчонок!

Через минуту об этом же заорал на весь квартал могучим басом второй любитель птиц:

— Не трожь птенчика, пацан, эй, не трожь, я сам его сейчас изловлю!

Выглянув из окна, я увидел, как толпа во главе с человеком саженного роста бегает по улице и старается поймать низко пролетающих птенцов. Потом в мою квартиру ворвалась группа мальчишек и девочек. Витька, держа в руке скворчонка, спрашивал:

— Что с ним делать? И летать, как следует, не умеет и в скворечнике не сидит. А другие скворцы уже улетели. Ведь этот погибнуть может, а? Скажите, что надо делать? У дяди Юры то же самое.

Я посоветовал отнести птенцов в лесок, где взрослые птицы подкормят их и научат жизни. Прошло десять минут, и толпа человек в двадцать двинулась по дорожке к леску. Впереди шагали Витька и дядя Юра великаньего роста с птенцами в руках.

2 июня. Девчушка стала куда голосистее. И уже подскакивает к летку и ловит корм. Родители уже не залетают в домик.

3 июня. Один раз совсем выскочила на леток и приняла корм, не сходя с него. Лишь распустила крылышки и от удовольствия помахала. Отец кормит молча. Но мамаша один раз резко защебетала и пробежалась по оградке, наверное, звала лететь. Но проказница спряталась в домик, лишь чирикнула: — Мне и здесь хорошо!

4 июня. Девчушка с утра торчала на летке. Накормив птенца несколько раз, мамаша опять что-то сердито защебетала, видимо, потребовала лететь. В жизни птичьей семьи мама играет, должно быть, ведущую роль.

Во второй половине дня мне пришлось уйти по делам. Когда я часа через два вернулся, домик на балконе был пуст и птицы больше не прилетели.

Счастливых полетов вам, милые скворцы! Возвращайтесь следующей весной!

И вот что я еще подумал: спасибо вам, что много вы уничтожили вредных насекомых и гусениц на поле, на лугах; и за эту радость, которую вы доставили нам уже одним только тем, что жили на балконе большого городского дома. Мне удалось заглянуть в малоизвестные для меня дела природы. Право, природа не так уж проста и примитивна, как нам иногда кажется. Немало в ней загадок для человеческого ума, даже там, где нам все казалось давно известным и ясным. Немало и поучительного для людей...

Г. СКАКУНОВ

Где цветут эдельвейсы?

Вряд ли найдется человек, который не слыхал бы о редкостном цветке — эдельвейсе. В представлении большинства из нас эдельвейс — это цветок мужества, награда сильным и смелым, ибо растет он высоко в горах, на неприступных кручах.

Немало сложено об этом цветке легенд и сказаний, немало стихов посвятили ему поэты. Латинское название его леонтоподиум переводится на русский язык как «львиная лапа». Так это растение было названо, по-видимому, за сильную опушенность своеобразного, довольно крупного цветка, имеющего диаметр 4—7 сантиметров. В действительности цветки эдельвейса чрезвычайно малы. На верхушке стебля в пятнадцать—двадцать пять сантиметров высоты плотно скучено несколько небольших соцветий (корзинок), составляющих сложное соцветие. Оно окружено сильно опушенными прицветными листьями, которые образуют серебристо-белую многолучевую звезду. Эти-то прицветные листья люди непосвященные обычно и принимают за лепестки цветка.

Некоторое представление о строении эдельвейса могут дать знакомые всем с детства кошачьи лапки, что растут по борам, сухим склонам, полянам. И поскольку это растение поменьше, то и в названии оно рангом пониже: называют его уж не лапой, а только лапкой и к тому же всего лишь кошачьей...

Можно смело утверждать, что много цветков — и дикорастущих и садовых — куда красивее эдельвейса. Молва о нем разошлась по белу свету — и стал он теперь в Швейцарии величайшей редкостью: зарубежные туристы все уничтожили, стремясь увезти с собой столь драгоценный сувенир. Хотя и состоит теперь этот цветок под охраной швейцарского закона, но грозит ему полное истребление.

Хорошо известны многочисленные находки эдельвейсов в высокогорьях Советского Союза, в том числе и в горах Алтая, Восточного Саяна и Тувы. Но, вероятно, для многих читателей явится неожиданностью, что эдельвейс — довольно обычное растение степной Сибири. Встречается он и у нас в Кузбассе, изредка находят его в лесостепных районах области на каменистых и щебенистых склонах. Правда, это не тот эдельвейс, что растет высоко в горах, но наш степной не так уж много теряет в сравнении с альпийским. Недаром же, как утверждает известный знаток западно-сибирской флоры В. Алгазин, предприимчивые швейцарцы сбывали богатым американским туристам «на память об Альпах»... наши сибирские эдельвейсы.

Эдельвейсы Кузбасса нуждаются в охране. Проще простого от непомерной «любви» к этим цветам уничтожить их все в два-три туристских сезона. А ведь есть другой способ выразить свою любовь к эдельвейсам. Цветут они в июле — августе. Так что уж в конце августа — начале сентября можно собрать семена. Посеянные в конце марта в горшочки семена через неделю-две дадут всходы. Рассаду с 5—6 листочками надо высадить в грунт. И зацветут на вашем приусадебном участке или на альпийской горке, устроенной на территории завода, шахты, фабрики, школы, наши сибирские эдельвейсы.

Слово критике

В. МАТВЕЕВ

Путешествие в мир детства

Охотников сочинять детские стихи у нас не счесть, а сборников, которые полюбились бы ребятишкам, мало. Некоторых авторов привлекает обманчивая легкость, с какой якобы создается чтиво для самых юных.

Книжка стихов «Снегурочка» Александра Береснева, вышедшая в Кемеровском книжном издательстве, — приятное исключение из числа сборников такого рода. Стотысячный тираж, каким издан сборник, спрос на него — яркое тому свидетельство.

Детское восприятие характеризуют самыми лестными эпитетами — живое, непосредственное, искреннее. Ребенок чуток к образному слову, да не так просто заставить работать его воображение, пробудить желаемые эмоции. Замечая малейшую фальшь, надуманность, он в то же время звонко выражает свой восторг, если стихотворение пришлось ему по душе.

Не случайно автор, пишущий для малышей, больше, чем кто-либо, побаивается своих будущих читателей, а вернее слушателей, ибо многие еще не знают азбуки, находятся только на пороге школы. Взрослые, выступая посредниками между детским поэтом и ребятами, нередко спешат с оценками, передоверяют своему вкусу.

Не лучше ли узнать сначала мнение юного слушателя, рискнуть разобраться в его «нравится» или «не нравится», а уж потом делать «взрослые» выводы? Я, к примеру, так и поступил, когда познакомился с книжкой Александра Береснева. Далек от мысли, что мой метод «совместного рецензирования» совершенен, но некоторые любопытные наблюдения он все-таки дает.

Стихи были прочитаны ребятам одной из групп детсада, которым отроду по пять—шесть лет, то есть угодили по назначению, к дошкольникам. По выразительным лицам детей, их непосредственной реакции не составило труда догадаться, понять, насколько удалась автору та или иная «вещица», в чем он силен, а где допускает творческий просчет. Приглянувшиеся стихи юные любители поэзии просили прочесть во второй и третий раз, тут же их запоминали и декламировали. Особенно понравился малышам «Кот-проказник»:

Кот Василий напроказил:
Он тайком в сметану лазил.
Мама Ваську вмиг за дверь:
«Вот намерзнешься теперь!»
Хоть и нрава он плохого,
Жалко мне кота до слез:
Ведь его совсем босого
Выгоняют на мороз!

В проказах плутоватого Василия есть что-то от ребячьих шалостей. Его восприняли как младшего собрата: и улыбнулись ему, и посочувствовали — легко ли босому бегать по морозу! Кот выглядит у Береснева, да и у художника В. Сотникова, талантливо проиллюстрировавшего текст, этаким свойским, домашним, с хитроватым прищуром зеленых глаз.

Ничего не имея против «Кота-проказника», даже по-своему симпатизируя ему, я ожидал, что с неменьшим удовольствием встретят ребята и «Ель» — одно из лучших, по моим предположениям, восьмистиший сборника. Я ошибся. В этой миниатюре рассказывается о любознательном мальчике Ване, который пытается понять, «почему зимой студеной ель стоит совсем зеленой, цветом не меняется».

...И, подумав, догадался:
«Ель ужасно колется,
Потому мороз боялся
До нее дотронуться».

«Своеобразное объяснение, оригинальный штрих, — думалось мне. — Почему же тогда детей не очень трогает найденный поэтом образ? «Босой кот» им понятен и дорог, а

вот колючее дерево их не слишком волнует».

Дело, конечно, не в отсутствии у ребят любопытства к загадкам природы, не в глухоте к языку поэзии. В стихотворении «Первый снег» тоже говорится о «совсем зеленой» ели, и это не кажется скучным, банальным, находит отклик в ребячьих сердцах:

Выпал снег. Тропинка
Стала серебристой.
Ель стучит в окошко
Лапкою пушистой.
Просится погреться —
Я б ее пустила,
Да сегодня мама
Печку не топила.

Образ зимней ели здесь одушевлен, она предстает перед детьми чем-то вроде любимой дворняжки, бегающей под окном родного дома. Убедителен автор и в раскрытии психологии малыша, его логики.

Теперь вернемся к первой ели — грозе мороза. Это, разумеется, и образ, и в своем роде находка, но на всем этом печать умозрительности, литературного схематизма. В таком случае не спасает положения и мудрый Ваня, размышляющий о тайнах земного бытия. Понять это мне помогли малыши из детсада.

Видимо, с творческим домыслом в поэзии для дошкольников непозволительно вольничать. Фантазируй, да так, чтобы тебе верили, чтобы иной раз и небылица убеждала пуще были. Малыши охотно слушают и запоминают стихи, где налицо сюжет, пусть самый незамысловатый, как, к примеру, в «Коте-проказнике», «Теленке», «Родничке», «Снегурочке». Им нравится, когда поэт, оставаясь взрослым, умеет посмотреть на окружающее их глазами, порадоваться их радостями, опечалиться их печалью.

Удается ли Бересневу погостить в чудесной стране Детства и привезти оттуда на своей поэтической ладье «добычу»? Бесспорно, хотя и не так часто, как того хотелось бы молодому автору, для которого «Снегурочка» — творческий дебют... Девочка Таня, готовая резвиться весь день без устали; добродушная толстушка Инна, принимающая «понарошке» снег за мороженое; упрямый малыш, самостоятельно, без мамы, шагающий домой из садика, — весь этот милый ребячий быт привлекателен в стихах Береснева.

И ребятишки, и природа, и животные у него по-хорошему проказливые, задорные, неугомонные: родничок бежит вприпрыжку, как мальчишка; теленок хочет пободаться с ветром; подснежник приоткрыл по весне синие ресницы.

Лучшие стихи молодого автора, в недалеком прошлом рабочего, сейчас журналиста, самобытны. «Снегурочка» — желанная гостья малышей. И если не все пока удается Александру, то это и понятно — творческий поиск не бывает гладким, особенно на ниве поэзии о детях и для детей.

...Малыш спросил отца:
— Папа, а почему рыбки молчат?
— У них нет язычка, сынок, — ответил отец.
— И вовсе не потому, — возразил мальчик. — Водички в рот набрали.

Наивная детская логика, но сколько поэзии, обаяния в таких неожиданных суждениях о явлениях окружающего ребенка мира! Человек, не любящий и не умеющий прислушиваться, утративший с годами способность свежо и непосредственно воспринимать звуки и краски природы, явления жизни, назовет, пожалуй, объяснение мальчика лепетом. А вот для детского поэта — это самая дорогая находка.

Не этот ли источник питает творческое воображение Эдуарда Гольцмана, подарившего ребятишкам дошкольного возраста книжку «Петушки». В сборнике всего восемь стихотворений, но, как известно, в поэзии количество строк еще ни о чем не говорит, гораздо важнее качество написанного.

Гольцман экономен в словах, ему дается высказать законченную поэтическую мысль в одном четверостишии. Каждая из его вещиц — своего рода лирическая миниатюра. Это либо картинка природы, либо запечатленное в образе настроение малыша, вызванное каким-то неожиданным для него жизненным фактом.

По-своему говорит Гольцман, к примеру, о наступлении ранней весны, его «Сосулька», раздающая по капле весну прохожим,— предвестница тепла, погожих дней, солнечной радости. Поэт уловил момент, когда зима на исходе, а весна еще только-только начинает о себе заявлять:

Еще нигде ручей не булькнул,
Еще и солнце не печет —
Уже по капельке сосулька
Весну прохожим раздает.

Маленькая Катюша увидела сон и задумалась, откуда он к ней явился. Гадала так и эдак, пока не остановилась на самом простом предположении. «Сны выходят из подушки».

Бабушка что-то шила и уронила на пол иголку. Стала искать — иголка, как сквозь землю провалилась. Внучек из сочувствия к бабушке посоветовал ей покликать затерявшуюся иглу: мол, у нее же есть ушко, услышит. А потом сокрушенно сказал:

Нет, не может дать ответа —
Язычка у бедной нету.

(«Иголка»).

В лучших своих миниатюрах автор из г. Осинники просто и доверчиво беседует с детьми, хотя есть в его сборнике и стихи, где он искусственно подлаживается к психологии ребенка, сюсюкает, без надобности морализует. Наиболее слабым представляется стихотворение «Петушки», давшее название сборнику. Рассказав о драке двух петушков-забияк, Гольцман выдает навязчивую прописную мораль:

Как вы думаете, дети,
Есть у нас такие Пети?

Дидактический петушок поучает деток, как надо вести себя в общественных местах.

...Только человек, искренне любящий и понимающий природу, да к тому же умеющий нескучно рассказать об этом другим, мог подарить юным читателям книжку «Про ягоды». Сборник стихов Геннадия Молостнова выгодно отличает его своеобразная задумка — дать ребятам в образной форме представление о щедрых богатствах наших лесов и лугов, пробудить интерес к земной красоте.

Клюква, земляника, малина, брусника, смородина, черемуха — о каждой из этих ягод рассказано так, что и видишь их, и как бы ощущаешь на вкус, хочется немедленно отправиться с ватагой ребятишек за город в сказочное царство природы, где

У черной у смородины
Вдоль быстрых речек родина.
Овражками расстелется,
На островках поселится, —
В такую глушь забьется
Да хмелем обовьется, —
Попробуй подойди!

(«Смородина»).

Без нравоучений, навязчивости описывает автор свойства любимых в народе ягод, внушает детям мысль о том, что познать окружающую нас красоту могут лишь самые настойчивые. Вкусна, к примеру, малина, да не просто бывает подойти к ней

По малину дорога длинная!
На пути — буреломы, кусты,
Повстречается заросль целинная,
И высокие травы густы!
Там крапива такая злючая
Поднялась непролазной стеной!
Все кусучее, все колючее.
Если трусишь — ступай домой!

(«По малину»).

Менее убедительным представляется рассказ деда внучонку о зимних ягодах (стихотворение «Что за ягоды зимой?») И проигрывает этот рассказ от того, что Молостнов, опасаясь что-то упустить, увлекся общим перечнем свойств зимних даров природы. Тут и шиповник, и рябина, и боярка, и калина, и облепиха — даже взрослому трудно сразу разобраться в столь пространном «ягодном меню», малышам — тем более.

Им гораздо ближе и понятнее спор Коли, Оли и Гриши о том, как лучше назвать землянику — вкусникой, сластникой или сочникой. Наконец, приятели, а вместе с ними и автор, приходят к выводу, что в данном случае все названия хороши, и каждый прав по-своему.

...Книжка Владимира Аполлонова «Где бывает ночью солнце» по объему превосходит сборники стихов А. Береснева, Э. Гольцмана и Г. Молостнова, вместе взятые, но эта «солидность» обманчива. Перед нами обычные стихотворные поделки, где все технически грамотно сработано по заданному эталону. Автору было все равно о чем писать: попало на глаза бревно — готов стих о бревне, растет тополек — даешь вирши о нем, идет по улице загорелый мальчишка — тащи и его в стихи.

И эта многотемность — вовсе не от богатства впечатлений, а из желания что-то както зарифмовать, высказать с виду глубокие, а по сути банальные истины о том, что река вырастает из ручейков, что маленький тополек станет могучим тополем, что загорелым быть лучше, чем бледным... Ни одного оригинального штриха, ни малейшей попытки как-то самобытно решить знакомую тему. Отсюда и язык — бесцветный, равнодушный, как правило, фотографирующий факт и не задевающий читательского воображения.

Сошлемся на того же «Загорелого парнишку». Вот он «идет, щеголяет», на него «приятно смотреть». Еще ранняя весна, всем холодно, а мальчишка «идет, распахнув загорелую грудь», ибо он «против всяких невзгод закален». Прохожие «шепчут» по это-

му случаю похвалу в духе плохой стенгазетной передовицы: «Парнишка силен!». Вроде все ясно: молодец, паренек, так держать! Аполлонов не спешит ставить точку, ибо еще «не найдена» концовка — вершина штампа в этой зарисовке.

Хорошие мысли
У всех пробуждая,
По улице
быстро
Парнишка шагает.
Спортивный значок
У него на груди.
Я счастья желаю
Парнишке в пути!

Не думаем, что «шоколадный мальчишка» со значком на груди, обескровленный волей автора и превращенный им в ходячую добродетельную схему, пробудит «хорошие мысли» у юных читателей.

Длинно и скучно повествует Аполлонов о том, «где бывает ночью солнце», нанизав одно на другое самые пестрые события. Так, небесное светило еще не успело взойти, а ребята «в одну стащили кучу» металлолом, образовалась «железная гора», которая «достает почти до тучи».

Вот уж полную тележку
Ржавой жести, гнутых труб
Нина, Коля и Олежка,
Поднатужившись, везут.
Нынче сбор металлолома
Для постройки тех ракет,
Что взлетят с ракетодрома
И проложат к Марсу след...

Ракеты, построенные из «ржавой жести», это, конечно, ново, и тут не откажешь автору в оригинальности суждения.

...Детские стихи, удачные, менее удачные и вовсе плохие, о которых идет здесь речь, выпущены в последние годы Кемеровским книжным издательством. Похвально, что хороших сборников у нас выходит больше, но не совсем понятна ориентация авторов только на дошкольный возраст. Детской прозе в этом смысле повезло куда больше — для ребят младшего и среднего школьного возраста писали Виталий Рехлов, Геннадий Блинов, Олег Павловский, Евгений Буравлев. И хочется верить в то, что другие писатели и поэты не останутся в долгу перед ребятами, испытают себя на ниве детской поэзии.

Пока относительна познавательная ценность творческой продукции для детей, сборники бедны тематически, перепевают на разные лады известные сюжеты. Мало еще в них сибирского, местного, слабо воспитывают они ребятишек с помощью художественных средств в духе любви к родному краю, уважению к его замечательным людям — шахтерам, металлургам, строителям... Мы, разумеется, не за областническую узкопрофессиональную поэзию для детей, но за то, чтобы в ней так или иначе угадывался Кузбасс, его неповторимый колорит. Это — при всех прочих достоинствах стихов: занимательности, искренности, лиризме, неподдельной простоте, авторской самобытности.

ИЛЬЯ КАРТЕЛЬ

ОБРАЗЕЦ НЕПОДКУПНОСТИ

ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ РАССКАЗ

Тимофей Тимофеевич затащил как-то меня к себе. Не дав даже присесть, он тут же вытолкнул меня за дверь, ведущую в огород.

— Посмотрим главное, а тары-бары потом, — пояснил он. — А теперь поворачивай в дверь направо, загибай налево, еще раз налево, да еще раз направо. А сейчас жми прямо, — командовал он, подталкивая в спину.

Я только разинул рот, чтобы спросить, зачем такое множество дверей, как он ловко обкрутил меня вокруг моей собственной оси и пристукнул под подбородок:

— Подыми глаза и замри! Дендрарий, а не сибирский сад. Чудо ботаники. Роскошь! Это яблони-полукультурки! Какой черт полукультурки! Полные культурки, доложу я тебе. Яблоки — во! Упадет которое мальчишке на голову и... Это малина-вислуха. Ягоды без малого по кулаку. Жаль только, мягковаты и низко подвешены. А вон там...

И вдруг, что-то вспомнив, Тимофей Тимофеевич поперхнулся, словно ему в горло попало увесистое яблоко полукультурки.

— А знаешь, чего здесь не хватает? — сказал он. — Ну, подумай, подумай. Я подожду, посмотрю, как у тебя насчет соображения.

Я посмотрел на высокий забор, отделяющий сад от остального мира, и попробовал пошутить:

— Знаю. Танкового рва перед забором. Отгадал?

— Чудак! Забор уже не спасет. Устарелая техника. Их там учат прыгать. Есть такие прыгуны, что на шесте двухэтажный дом перепрыгивают. Или на веревке с крючком подтягиваются...

— Кто подтягивается? Кого учат?..

— Какой ты, однако, бестолковый! Да мальчишки же. В школьных спортзалах и разных кружках. И не хватает мне для них хорошей собачки. Опустился такой парашютист на землю, а она — р-рр — и хвать за штанину. Но где найдешь сейчас подходящего песика?! — уныло заключил Тимофей Тимофеевич. — Мой сосед недавно достал барбоса какой-то вегетарианской породы, а теперь и сам не рад. Мяса и сала не ест, зато малину, землянику и смородину жрет, аж за ушами трещит...

Недели через две я проходил мимо дома Тимофея Тимофеевича. Он заметил меня еще издали, выбежал навстречу и, продев, словно иголку, через все двери, опять вытолкнул в сад:

— Глянь теперь!

Не успел я глянуть, как на меня ринулось чудовище устрашающего вида. Оно не лаяло, а как-то булькало и шипело.

Я похвалил пса и добавил, что этот страж, должно быть, производит на сорванцов сильное впечатление.

— Как бы не так, — вздохнул Тимофей Тимофеевич. — Уже узнали. Опустят, черти полосатые, на ниточке сало

через забор — он и язык прикусит. Ни звука. Забирай хоть весь сад с корнями и его, псину, впридачу. Не сторож, доложу я тебе, а сукин сын, подхалим и взяточник. Далеко уйдет по службе, если не остановить. Я тебя считаю другом, — доверительно заметил Тимофей Тимофеевич, на всякий случай отвернувшись от собаки. — Скажи, пожалуйста, не знаешь ли где-нибудь на примете подходящего песика?

Я припомнил, как один мой сослуживец хвастался неподкупным характером своей собаки. На глазах у хозяина она переела всех кур, задушила двух уток и вдобавок разорвала кошку, когда та по неосведомленности приблизилась к грядке огурцов. Мне хотелось помочь другу, и я дал адрес.

Примерно через месяц Тимофей Тимофеевич забежал ко мне сам. Он был возбужден. Лицо излучало столько радости, что я подумал: уж не выиграл ли он по денежно-вещевой лотерее холодильник или автомашину? Или не отправил ли в гости тещу?

— Ты друг мне навеки, — затряс мою руку Тимофей Тимофеевич. — Ты спас мои полукультурки, мою вислуху, мой раннеспелый крыжовник. Ты оградил от вихрастых гуннов мою викторию. Теперь уж никто не посмеет, не сунется... Гляди сам, полюбуйся!

И тут он со спортивной ловкостью, в мгновение ока задрал ногу и обнажил свежую, еще кровоточащую рану.

— Здорово, а? — восхищенно спросил он. — Не всякая собачка так может, признайся? Своих даже не признает, ха-ха. А что будет чужому, чуешь? Не то, что штаны, мясо, как чулок, с ноги сдерет. Ну, спасибо за адресок, дружище! И главное, чудак этакий, по дешевке уступил. Ничего, видно, не шурупит в собаках.

Еще через неделю я встретился с Тимофеем Тимофеевичем в автобусе. Я был в одном конце автобуса, он — в другом, а между нами плотная прокладка из человеческих тел. Прокладка распирала стены, шевелилась, гудела, но действительно дружеские чувства не признают никаких преград. Мой друг увидел меня сквозь непроницаемую толщу и через головы закричал:

— Привет и наилучшие пожелания! Опять!.. Слышишь? Опять...

— Что опять? — не понял я.

— Опять покусала, ха-ха! На этот раз сынишку. И тоже ниже колена. Не признает ни кумовства, ни свойства, собачья морда. Но ничего страшного — не больше месяца на костылях. Еще раз спасибо за адресок.

В последний раз я видел Тимофея Тимофеевича на автобусной остановке. Прихрамывая, он пристраивался к длинной очереди. За ним на костылях ковылял мальчишка. На лице моего приятеля было разлито столько счастья, что его, казалось, хватило бы на всю очередь, как бы долго автобус ни показывался.

— Привет и наилучшие пожелания другу! — вскинул он, словно семафор, над головами людей руку. — А мы в больницу, дружище, спешим, жену и мамку навестить едем. Говорят, при ранениях здорово помогают витамины. Хотя какое же там ранение. Так, пустячок. Раночка пальца в два глубиной. Но уже повыше колена... Повышение, так сказать. Ну и псина! Никого не признает. Прямо образец неподкупности. Теперь даже воробьи и скворцы в огород не залетают. Боятся, ха-ха, хотя я своего песика окружил двумя рядами колючей проволоки, а пищу передаю в ведре на длинной жерди. Скажи, дружок, где достать колючей проволоки на третий ряд? И не знаешь ли ты какое-нибудь народное средство против собачьих укусов? На всякий случай!..

Потрудился

Магнитофон устал:
он целый вечер
произносил...
чужие речи.

Пила

У нее такая мода:
напилится
и требует развода.

Не разделяя вины

На Ручку
капали Чернила:
— Опять она
кого-то очернила.

Вклад в искусство

Свинья участвует
в создании картины:
все кисти
из ее щетины.

Любитель похвалы

Был Цемент
особым
средь цементов:
рассыпался...
от аплодисментов.

„ЯЗЫК МОЙ БЫЛ ТВЕРД И НЕПОСЛУШЕН...“

(ИЗ РУКОПИСЕЙ, ПРИСЛАННЫХ В АЛЬМАНАХ «ОГНИ КУЗБАССА»)

* * *

«Она вся светилась каким-то внутренним светом, и ему показалось, что она вся прозрачная без единого пятнышка».

* * *

«— Перепугал ее (собаку) беднягу, теперь заикаться стала. По человечески лаять-то даже не может».

* * *

«Они с жаром смотрели друг на друга и в их безмолвных взорах было столько нежности и огня, что можно с уверенностью сказать. что этот огонь не иссякнет до конца их жизни».

* * *

«Лысина на его голове стала катастрофически багроветь от закипающей злобы, он шагнул вперед и рявкнул на всю улицу».

* * *

«Томка училась на филологиню в Москве и приехала на каникулы».

* * *

«Одним неосмотрительным движением наплевал себе в душу».

* * *

«Я уткнулся в горячую грудь механизатора... И он ушел, большой, грузный, пропитанный маслом механизатор...».

* * *

«Сквозь витиеватые узоры ругани просачивалось тепло».

* * *

«На горстку храбрецов со всех сторон надвигались цепи пьяных фашистов, поддерживаемых танками».

* * *

«Танкисты тихо поднимались и получали вкусный завтрак — сто грамм водки».

* * *

«Сердце его то прыгало, то останавливалось».

* * *

«Сашка горел в тридцатидевяти градусах по Цельсию».

* * *

«Мама выставила свое заинтересованное лицо и перевернула следующую страницу учебника философии».

* * *

«В глазах его то и дело поблескивали какие-то посторонние мысли».

* * *

«Он познакомил нас с миром прекрасного и влил много света в наши души».

* * *

«Мы организовали рукописный журнал, который сразу заглох после смерти главного редактора».

* * *

«С тех пор лютой ненавистью горели их глаза при встрече друг с другом, и они готовы были вцепиться в глотки в смертельной хватке».

* * *

«Все равно буду учиться, не в институте, так в жизни».

* * *

«— Ах, так! — воскликнул в душе Костя».

* * *

«Шагая по путям, я с силой ударял ногой камни, что они со свистом летели вперед метров на сорок».

* * *

«Но язык, непослушный, выпрыгивал и закрывал самому же себе ход».

С подлинным верно. МАТВЕЙ СИРОТКИН.

МИХАИЛ НЕБОГАТОВ

Мышовка

Зазевался мотылек неловкий —
И безвольно крылышки простер,
Стал, бедняжка, завтраком мышовки...
У нее, у земляной плутовки,
Зорок глаз, да и зубок остер!

Детеныш косули

Бродил вдвоем с красавицей-косулей,
Услышал гром — застыл настороже...
Не знает он, что браконьерской пулей
С косулей-мамой разлучен уже...

Фото В. Телегина

Цена 35 коп.

ОГНИ КУЗБАССА

КЕМЕРОВО 1970